

Ги де Мопассан

Пьер и Жан

О романе

Я вовсе не собираюсь выступать здесь в защиту небольшого романа, следующего за этим предисловием. Напротив, мысли, которые я попытаюсь выразить, скорее повели бы к критике того опыта психологического жанра, каким является Пьер и Жан.

Мне хочется остановиться на романе как таковом.

Я не единственный из писателей, которому все те же критики обращают все тот же упрек каждый раз, как выходит новая книга.

Среди хвалебных фраз мне неизменно попадает и такая фраза, — и пишут ее все те же перья: «Главный недостаток этого произведения в том, что оно, в сущности говоря, не роман».

Можно было бы ответить тем же самым доводом: «Главный недостаток писателя, удостоившего меня своей оценки, в том, что он, в сущности говоря, не критик».

Каковы в самом деле основные признаки критика?

От критика требуется, чтобы он, без предвзятости, без заранее принятого решения, не поддаваясь влиянию той или иной школы и независимо от связей с какой бы то ни было группой художников, умел понимать, различать и объяснять все самые противоречивые стремления, самые противоположные темпераменты и признавать закономерность самых разнообразных художественных исканий.

Вот почему тот критик, который после Манон Леска, Поля и Виржини, Дон-Кихота, Опасных связей, Вертера, Избирательного сродства, Клариссы Гарло, Эмиля, Кандида, Сен-Мара, Рене, Трех мушкетеров, Мопра, Отца Горио, Кузины Бетты, Коломбы, Красного и черного, Мадемуазель де Мопен, Собора Парижской богородицы, Саламбо, Госпожи Бовари, Адольфа, Господина де Камор, Западни, Сафо и т.д. еще позволяет себе писать: «То — роман, а это — не роман», — кажется мне одаренным проницательностью, весьма похожей на некомпетентность.

Обычно такой критик понимает под романом более или менее правдоподобное повествование по образцу театральной пьесы в трех действиях, из которых первое содержит завязку, второе — развитие действия и третье — развязку.

Подобная форма композиции вполне приемлема при том условии, что одинаково допустимы и все остальные.

В самом деле, существуют ли правила, как писать роман, при несоблюдении которых произведение должно называться по-другому?

Если Дон-Кихот — роман, то роман ли Западня? Можно ли провести сравнение между Избирательным сродством Гете, Тремя мушкетерами Дюма, Госпожой Бовари Флобера, Господином де Камор г-на О. Фейе и Жерминалем г-на Золя? Какое из этих произведений — роман? Каковы эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил? По какому принципу, по чьему авторитету, по каким соображениям?

Однако критикам этим как будто самым доподлинным и неоспоримым образом известно, что именно составляет роман и чем он отличается от другого произведения, которое не роман. Попросту же говоря, все дело в том, что, не будучи сами художниками, они примкнули к определенной школе и, по примеру ее представителей-романистов, отвергают все произведения, задуманные и выполненные вне их эстетических правил.

Проницательному критику, напротив, следовало бы выискивать именно то, что менее всего напоминает уже написанные романы, и по возможности толкать молодежь на поиски новых путей.

Все писатели, и Виктор Гюго, и г-н Золя, настойчиво требовали абсолютного, неоспоримого права творить, то есть воображать или наблюдать, следуя своему личному пониманию задач искусства. Талант порождается оригинальностью, которая представляет собой особую манеру мыслить, видеть, понимать и оценивать. И критик, пытающийся определить существо романа соответственно представлению, составленному по романам, которые ему нравятся, и установить некие незыблемые правила композиции, всегда обречен бороться против темперамента художника, работающего в новой манере. Критику же, безусловно, достойному этого имени, следовало бы быть только аналитиком, чуждым тенденций, предпочтений, страстей, и, подобно эксперту в живописи, оценивать лишь художественную сторону рассматриваемого им произведения искусства. Способность понимать решительно все должна настолько господствовать у него над личными вкусами, чтобы он мог отмечать и хвалить даже те книги, которые ему как человеку не нравятся, но которым он отдает должное в качестве судьи.

Однако большинство критиков, в сущности, только читатели, а это значит, что они распекают нас почти всегда понапрасну; если же хвалят, то не знают ни удержу, ни меры.

Тому читателю, который ищет в книге только удовлетворения природной склонности своего ума, желательно, чтобы писатель угождал его излюбленным вкусам, и поэтому он всегда признает выдающимся и хорошо написанным то произведение или тот отрывок, которые отвечают его настроению, возвышенному, или веселому, игривому или печальному, мечтательному или трезвому.

В сущности, читающая публика состоит из множества групп, которые кричат нам:

- Утешьте меня.
- Позабавьте меня.
- Дайте мне погрустить.
- Растрогайте меня.
- Дайте мне помечтать.
- Рассмешите меня.
- Заставьте меня содрогнуться.
- Заставьте меня плакать.
- Заставьте меня размышлять.

И только немногие избранные умы просят художника:

— Создайте нам что-нибудь прекрасное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту.

И художник берется за дело и достигает успеха или терпит неудачу.

Критик должен оценивать результат, исходя лишь из природы творческого усилия, и не имеет права быть тенденциозным.

Об этом писали уже тысячу раз. Но постоянно приходится повторять то же самое.

И вот вслед за литературными школами, стремившимися дать нам искаженное, сверхчеловеческое, поэтическое, трогательное, очаровательное или величественное представление о жизни, пришла школа реалистическая, или натуралистическая, которая взялась показать нам правду, только правду, всю правду до конца.

Надо с одинаковым интересом относиться ко всем этим столь различным теориям искусства, а о создаваемых ими произведениях судить исключительно с точки зрения их художественной ценности, принимая а priori 1 породившие их философские идеи.

Оспаривать право писателя на создание произведения поэтического или реалистического — значит требовать, чтобы он насильствовал свой темперамент и отказался от своей оригинальности, значит запрещать ему пользоваться глазами и разумом, дарованными природой.

Упрекать его за то, что вещи кажутся ему прекрасными или уродливыми, ничтожными или величественными, привлекательными или зловещими, — значит упрекать его за то, что он создан на свой особый лад и что его представления не совпадают с нашими.

Предоставим же ему свободу понимать, наблюдать, создавать, как ему вздумается, лишь бы он был художником. Но попытаемся подняться сами до поэтической экзальтации, чтобы судить идеалиста; ведь только тогда мы и сможем ему доказать, что мечта его убога, банальна, недостаточно безумна или недостаточно великолепна. А если мы судим натуралисту — покажем ему, в чем правда жизни отличается от правды в его книге.

Вполне очевидно, что столь различные школы должны пользоваться совершенно противоположными приемами композиции.

Романисту, который переиначивает неопровержимую, грубую и неприятную ему правду ради того, чтобы извлечь из нее необыкновенное и чарующее приключение, незачем заботиться о правдоподобии; он распоряжается событиями по своему усмотрению, подготавливая и располагая их так, чтобы понравиться читателю, чтобы взволновать или растрогать его. План его романа — только род искусных комбинаций, ловко ведущих к развязке. Все эпизоды рассчитаны и постепенно доведены до кульминационного пункта, а эффект конца, представляющий собой главное и решающее событие, удовлетворяет возбужденное в самом начале любопытство, ставит преграду дальнейшему развитию интереса читателей и настолько исчерпывающе завершает рассказанную историю, что больше уж не хочется знать, что станет на другой день с самыми увлекательными героями.

Но романист, имеющий в виду дать нам точное изображение жизни, должен, напротив, тщательно избегать всякого сцепления обстоятельств, которое могло бы показаться необычным. Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать нам какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий. Он столько наблюдал и размышлял, что смотрит на вселенную, на вещи, на события и на людей особым образом, который свойствен только ему одному и исходит из совокупности его глубоко

продуманных наблюдений. Это личное восприятие мира он и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге. Чтобы взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни, он «должен воспроизвести ее перед нашими глазами, стремясь к самому тщательному сходству. Следовательно, он должен построить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются замысел и намерения автора.

Вместо того чтобы измыслить какое-нибудь приключение и так развернуть его, чтобы оно держало читателя в напряжении вплоть до самой развязки, он возьмет своего героя или своих героев в известный период их существования и доведет их естественными переходами до следующего периода их жизни. Таким образом, он покажет, как меняются умы под влиянием окружающих обстоятельств, как развиваются чувства и страсти, как любят, как ненавидят, как борются во всякой социальной среде, как сталкиваются интересы обывательские, денежные, семейные, политические.

Его искусный замысел будет, следовательно, заключаться вовсе не в том, чтобы взволновать или очаровать, не в захватывающем начале или потрясающей катастрофе, но в умелом сочетании достоверных мелких фактов, которые выявят окончательный смысл произведения. Чтобы уместить на трехстах страницах десять лет чьей-нибудь жизни и показать, каково было ее особенное и характерное значение среди всех других окружающих ее существования, автор должен суметь исключить из множества мелких, незначительных, будничных событий те события, которые для него бесполезны, и особенным образом осветить все те, которые остались бы незамеченными недостаточно проницательным наблюдателем, хотя они-то и определяют все значение и художественную ценность книги.

Разумеется, подобная манера композиции, столь отличная от старинного, понятного для всех способа, часто сбивает с толку критиков, и они не могут обнаружить эти тонкие, скрытые, почти незаметные нити, используемые некоторыми современными художниками вместо той единственной веревочки, которая звалась Интригой.

Словом, если вчерашний романист избирал и описывал житейские кризисы, обостренные состояния души и сердца, то романист наших дней пишет историю сердца, души и разума в их нормальном состоянии. Чтобы добиться желаемого эффекта, то есть взволновать зрелищем обыденной жизни, и чтобы выявить свою идею, то есть в художественной форме показать, что же представляет собою в его глазах современный человек, автор должен пользоваться только теми фактами, истинность которых неопровержима и неизменна.

Но даже становясь на точку зрения художников-реалистов, следует все же обсуждать и оспаривать их теорию, которую, по-видимому, можно выразить в таких словах:» Только правда, и вся правда до конца «.

Так как цель их в том, чтобы делать философские выводы из некоторых постоянных и обычных фактов, им нередко приходится исправлять события в угоду правдоподобию и в ущерб правде, потому что бывает не всегда правдоподобна правда.

Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам ее воспроизведение, более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность.

Рассказать обо всем невозможно, так как потребовалось бы писать минимум по книге в день, чтобы изложить те бесчисленные незначительные происшествия, которые наполняют наше существование.

Значит, необходим выбор, а это уже первое нарушение теории всей правды до конца.

Кроме того, жизнь состоит из событий самых разнообразных, самых непредвиденных, самых противоположных, самых разношерстных; она груба, непоследовательна, бессвязна, полна необъяснимых, нелогичных и противоречивых катастроф, которым место в отделе происшествий.

Вот почему художник, выбрав себе тему, возьмет из этой жизни, перегруженной случайностями и мелочами, только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное.

Вот один из множества примеров.

Количество людей, умирающих каждый день от несчастных случаев, довольно велико на земле. Но можем ли мы сбросить черепицу с крыши на голову главного действующего лица или швырнуть его под колеса экипажа в самой середине повествования под тем предлогом, что нужно уделить место и несчастному случаю?

Далее, в жизни все идет по своему плану; события то ускоряются, то бесконечно затягиваются. Задача искусства, наоборот, состоит в том, чтобы осмотрительно подготавливать события, изобретать искусно скрытые переходы, освещать полным светом, с помощью умелой композиции, основные события, придавая всем остальным ту степень реальности, которая соответствует их значению; все это необходимо для того, чтобы заставить глубоко почувствовать ту особенную правду, которую требуется показать.

Показывать правду — значит дать полную иллюзию правды, следуя обычной логике событий, а не копировать рабски хаотическое их чередование.

На этом основании я считаю, что талантливые Реалисты должны были бы называться скорее Иллюзионистами.

К тому же какое ребячество верить в реальность, если каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств! Различие нашего зрения, слуха, обоняния, вкуса создает столько истин, сколько людей на земле. И наш ум, получая указания от этих органов, обладающих различной впечатлительностью, понимает, анализирует и судит так, как если бы каждый из нас принадлежал к другой расе.

Итак, каждый из нас просто создает себе ту или иную иллюзию о мире, иллюзию поэтическую, сентиментальную, радостную, меланхолическую, грязную или зловещую, в зависимости от своей натуры. И у писателя нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить эту иллюзию всеми художественными приемами, которые он постиг и которыми располагает.

Иллюзию прекрасного, которая является человеческой условностью! Иллюзию безобразного, которая является преходящим представлением! Иллюзию правды, никогда не остающуюся незыблемой! Иллюзию низости, привлекательную для столь многих! Великие художники — это те, которые внушают человечеству свою личную иллюзию.

Не будем же возмущаться ни одной теорией, поскольку каждая из них — это лишь общее выражение анализирующего себя темперамента.

Две из этих теорий особенно часто подвергались обсуждению, но их противопоставляли одну другой, вместо того чтобы принять их обе: это теория романа чистого анализа и теория романа объективного. Странники анализа требуют, чтобы писатель неукоснительно отмечал малейшие этапы умственной жизни и потаеннейшие побуждения, которыми определяются наши поступки, а самому событию уделял бы второстепенное значение. Событие есть лишь отправной пункт, простая веха, только повод к роману. Следовательно, по их мнению, нужно писать такие повести, точные и сочиненные, где воображение сливается с наблюдением, — как у философа, который стал бы писать книгу о психологии, — то есть излагать причины, черпая их из самых отдаленных

истоков, объяснять все» почему» всех желаний и распознавать все отклики души, побуждаемой к действию выгодой, страстями или инстинктом.

Сторонники объективности (какое противное слово!) имеют в виду, наоборот, дать нам точное воспроизведение того, что происходит в жизни; они тщательно избегают всяких сложных объяснений, всяких рассуждений о причинах и ограничиваются тем, что проводят перед нашим взором вереницу персонажей и событий.

По мнению этих писателей, психология в книге должна быть скрыта, подобно тому как в действительности она скрыта за жизненными фактами.

Роман, задуманный по этому принципу, выигрывает в отношении интереса, подвижности повествования, красочности, жизненной живости.

Итак, вместо того чтобы пространно объяснять душевное состояние какого-нибудь персонажа, объективные писатели ищут тот поступок или жест, который неизбежно будет сделан человеком в определенном душевном состоянии, при определенных обстоятельствах. Они заставляют героя вести себя с начала и до конца книги таким образом, чтобы все его поступки, все его порывы являлись отражением его внутренней природы, отражением его мыслей, желаний или сомнений. Они, следовательно, скрывают психологию, вместо того чтобы выставлять ее напоказ, и делают из нее остов произведения, подобный тем невидимым глазу костям, которые составляют скелет человеческого тела. Художник, рисуя наш портрет, не показывает же нашего скелета.

Мне кажется еще, что роман, написанный таким способом, выигрывает в отношении искренности. Прежде всего он правдоподобнее, — ведь люди, действующие вокруг нас, отнюдь не сообщают нам о побуждениях, которым они повинуются.

Необходимо считаться также с тем, что если мы, постоянно наблюдая людей, можем достаточно точно определить их характер, чтобы предвидеть их поведение почти при любых обстоятельствах, если мы с уверенностью можем сказать: «Такой-то человек, обладающий таким-то темпераментом, в таком-то случае поступит так-то», — из этого вовсе не следует, что мы сможем определить одну за другой все сокровенные последовательные извилины его мысли, непохожей на нашу мысль, все таинственные зовы его инстинктов, иных, чем у нас, все смутные побуждения его природы, органы которой, нервы, кровь и плоть, отличаются от наших.

Как бы ни был гениален слабый, мягкий, лишенный страстей человек, любящий исключительно науку и труд, он никогда не сможет настолько воплотиться в пышущего здоровьем, чувственного, пылкого молодца, обуреваемого всеми вожделениями и даже всеми пороками, чтобы понять и показать интимнейшие побуждения и ощущения столь чуждого ему человека, хотя прекрасно может предвидеть все его жизненные поступки и рассказать о них.

Итак, тот, кто является поборником чистой психологии, только на то и способен, чтобы подставлять самого себя на место каждого из персонажей в тех разнообразных положениях, в какие он их ставит, ибо он не в силах изменить свои органы, те единственные посредники между нами и внешним миром, которые навязывают нам свои восприятия, определяют нашу чувствительность, создают в нас душу, существенно иную, чем у других. Наше восприятие, наше познание мира, приобретенное при помощи наших органов чувств, наши понятия о жизни — все это мы можем только частично перенести на те персонажи, чью сокровенную и неведомую сущность мы собираемся раскрыть. Таким образом, только самих себя всегда и показываем мы в облике короля, убийцы, вора или честного человека, куртизанки, монахини, юной девушки или рыночной торговки, потому что нам приходится ставить перед собой такую проблему: «Если бы я был королем, убийцей, вором, куртизанкой, монахиней, девушкой или рыночной торговкой, что бы я делал, что бы я думал, как бы я действовал? Мы разнообразим свои персонажи только тем,

что меняем возраст, пол, социальное положение и все условия жизни нашего я, которое природа ограничила непреодолимой стеной органов восприятия.

Умение здесь состоит только в том, чтобы не дать читателю угадать это я под различными масками, предназначенными скрывать его.

Но если, с точки зрения полной точности, чистый психологический анализ является спорным, он может всетаки дать нам столь же прекрасные произведения искусства, как и всякий другой метод работы.

Вот сейчас появились символисты. А почему бы и нет? Их мечта как художников достойна уважения; особенно же ценно в них то, что они сознают и не скрывают, как трудно создать произведение искусства.

Надо быть поистине слишком безумным, слишком смелым, слишком заносчивым или слишком глупым, чтобы еще отваживаться писать в наше время! После стольких учителей, до такой степени разнообразных по своему характеру и по многосторонности своего гения, можно ли сделать что-нибудь, что уже не было бы сделано, сказать что-нибудь, что уже не было сказано? Кто из нас может похвастаться, что написал страницу или фразу, какие еще никогда не были написаны? Когда нам приходится читать, — нам, до того пресыщенным французской литературой, что самое тело свое мы ощущаем как некое тесто из слов, — случается ли нам найти хоть строчку, хоть мысль, которая не была бы уже привычной для нас или, по крайней мере, предугаданной нами?

Человек, ставящий себе целью только развлечь своих читателей уже знакомыми приемами, пишет, с уверенностью и простодушием посредственности, произведения, предназначенные для невежественной и праздной толпы. Но те художники, над которыми тяготеет вся литература минувших веков, те, кого ничто не удовлетворяет, кому ничто не нравится, потому что они мечтают о лучшем, кому все кажется уже отцветшим, кто всегда ощущает свое творчество как бесполезную и пошлую работу, судят о литературном искусстве как о чем-то неуловимом, таинственном, что лишь слегка приоткрывается нам на некоторых страницах величайших мастеров.

Двадцать стихов, двадцать фраз, которые нам случается иной раз прочитать, потрясают нас до глубины сердца, как изумительное откровение, но стихи, следующие за ними, похожи на любые другие стихи, проза, текущая дальше, похожа на любую другую прозу.

Гениальные люди, вероятно, не ведают этих терзаний, этих мук, так как они одарены неисчерпаемой творческой силой. Они не судят сами себя. Мы же, все остальные, — мы только добросовестные, упорные труженики и можем бороться с непобедимым отчаянием лишь ценою непрерывных и настойчивых усилий.

Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне эту силу вечно дерзать: Луи Буйле и Гюстав Флобер.

Если я говорю здесь о них и о себе, то единственно потому, что их советы, изложенные в нескольких строках, окажутся, может быть, полезными некоторым молодым людям, менее самоуверенным, чем это обычно бывает при вступлении на литературное поприще.

Буйле, с которым я познакомился раньше и сошелся довольно близко примерно года за два до того, как снискал дружбу Флобера, не уставал твердить мне, что для создания репутации художника достаточно сотни стихотворных строк, а может быть, и менее, если только они безукоризненны и содержат самую суть таланта и оригинальности писателя, хотя бы и второстепенного; он заставил меня понять, что непрерывная работа и глубокое знание ремесла способны — в минуту особой прозорливости, подъема и увлечения, при удачно найденном

можете, вполне соответствующем склонности нашего Ума, — привести к рождению небольшого, единственного в своем роде и самого совершенного произведения, какое мы только способны создать.

Затем я понял, что самые известные писатели почти никогда не оставляли после себя более одного тома и что надо прежде всего найти и выбрать среди множества тем, предоставленных нашему выбору, ту тему, которая способна привлечь к себе все наши способности, все наше мужество, все наши творческие силы.

Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. Я осмелился показать ему несколько моих опытов. Он доброжелательно прочел их и сказал:» Не знаю, есть ли у вас талант. В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона, — только длительное терпение. Работайте «.

Я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником.

В течение семи лет я писал стихи, писал сказки, писал новеллы, написал даже отвратительную драму. Ничего из этого не осталось. Учитель прочитывал все, а потом в следующее воскресенье, за завтраком, приступал к критике, шаг за шагом внедряя в меня те два-три принципа, которые представляли собой итог его длительных и терпеливых поучений.» Если обладаешь оригинальностью, — говорил он, — нужно прежде всего ее проявить; если же ее нет, нужно ее приобрести «.

« Талант-это длительное терпение «. Необходимо достаточно долго и с достаточным вниманием рассматривать все то, что желаешь выразить, чтобы обнаружить в нем ту сторону, которая до сих пор еще никем не была подмечена и показана. Решительно во всем есть что-нибудь неисследованное, потому что мы привыкли пользоваться своим зрением не иначе, как вспоминая все высказанное до нас по поводу того, что мы созерцаем. Ничтожнейший предмет содержит в себе частицу неведомого. Надо его найти. Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, остановимся перед этим огнем и этим деревом и будем рассматривать их до тех пор, пока они не перестанут походить в наших глазах ни на какое другое дерево, ни на какой другой огонь.

Именно так и вырабатывается оригинальность.

Установив далее ту истину, что во всем свете не сыщешь двух песчинок, двух мух, двух рук или двух носов, которые были бы абсолютно одинаковы, Флобер заставлял меня описать несколькими фразами какое-нибудь живое существо или предмет, и притом так, чтобы четко определить его своеобразие, чтобы выделить его из всех других живых существ и всех других предметов той же породы или того же вида.

« Когда вы проходите, — говорил он мне, — мимо бакалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку, или мимо стоянки фиакров, обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позу, весь их физический облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим бакалейщиком, ни с каким другим консьержем, и покажите мне одним-единственным словом, чем эта извозчичья лошадь отличается от пятидесяти других, которые бегут за ней или впереди нее «.

В другом месте я изложил идеи Флобера о стиле. В них много общего с теорией наблюдения, только что приведенной мною.

Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей.

Можно передавать и описывать тончайшие ощущения, следуя этому стиху Буало:

Огромна власть у слов, стоящих там, где нужно.

Для того чтобы выразить все оттенки мысли, вовсе нет надобности в том нелепом, сложном, длинном и невразумительном наборе слов, который навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма; нужно, напротив, с величайшей зоркостью различать все меняющиеся значения слова в зависимости от того места, где оно стоит. Поменьше существительных, глаголов и прилагательных, смысл которых почти неуловим, но побольше непохожих друг на друга фраз, различно построенных, умело размеренных, исполненных звучности и искусного ритма. Постараемся лучше быть отличными стилистами, чем коллекционерами редких словечек.

В самом деле, гораздо труднее обработать фразу посвоему, заставить ее сказать все, даже то, чего она буквально не выражает, наполнить ее подразумеваемым смыслом, тайными и невысказанными намерениями, чем выдумывать новые выражения или выискивать в недрах старых, забытых книг такие обороты речи, которые утратили для нас свое значение, перестали быть употребительными и звучат ныне, как мертвые письмена.

Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутить вычурные писатели. Каждый век бросал в этот прозрачный поток свои вкусы, свои претенциозные архаизмы и свою жеманность, но ничто не всплыло на поверхность из всех этих напрасных попыток и бессильных стараний. Наш язык — ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить.

Те, кто в наши дни создают образы, злоупотребляя отвлеченными выражениями, те, кто заставляют град или дождь падать на чистоту оконного стекла, могут также забросать камнями простоту своих собратьев! Они, может быть, и ушибут собратьев, у которых есть тело, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна.

Ла-Гийетт, Этрета, сентябрь 1887.

Ах, черт! — вырвалось вдруг у старика Ролана.

Уже с четверть часа он пребывал в полной неподвижности, не спуская глаз с воды, и только время от времени слегка дергал удочку, уходившую в морскую глубь.

Госпожа Ролан, дремавшая на корме рядом с г-жой Роземильи, приглашенной семейством Ролан на рыбную ловлю, очнулась и повернула голову к мужу.

— Что это?.. что это?.. Жером!

Тот отвечал со злостью:

— Да совсем не клюет! С самого полудня я так ничего и не поймал. Рыбу ловить надо только в мужской компании, — из-за женщин всегда выезжаешь слишком поздно.

Оба его сына, Пьер и Жан, дружно расхохотались. Они сидели — один у левого, другой у правого борта — и тоже удили, намотав лесу на указательный палец.

— Папа, — заметил Жан, — ты не очень-то любезен с нашей гостьей.

Господин Ролан сконфузился и начал извиняться:

— Прошу прощения, госпожа Роземильи, такой уж у меня характер. Я приглашаю дам, потому что люблю их общество, но стоит мне очутиться на воде, и я обо всем забываю, кроме рыбы.

Госпожа Ролан, стряхнув с себя дремоту, мечтательно смотрела на морскую гладь и прибрежные скалы.

— Но улов-то ведь богатый, — заметила она.

Муж отрицательно покачал головой. Однако он бросил благосклонный взгляд на корзину, где рыба, наловленная им и сыновьями, еще слабо трепетала, еле шурша клейкой чешуей, подрагивая плавниками и беспомощно, вяло хватая смертельный для нее воздух судорожными глотками.

Поставив корзину между ног, старик Ролан наклонил ее и сдвинул серебристую грудку к самому краю, чтобы разглядеть рыбу, лежавшую на дне; рыба сильнее забилась в предсмертном трепете, и из переполненной корзины потянуло крепким запахом, острым зловонием свежего морского улова.

Старый рыболов с наслаждением вдохнул этот запах, словно нюхал благоухающую розу.

— Пахнет-то как, черт возьми! — воскликнул он; потом добавил: — Ну, доктор, сколько ты поймал?

Его старший сын Пьер, лет тридцати, безбородый и безусый, с черными баками, подстриженными, как у чиновника, отвечал:

— О, самые пустяки, штуки три-четыре.

Отец повернулся к младшему:

— А ты, Жан?

Жан, высокий блондин с густой бородкой, намного моложе брата, ответил с улыбкой:

— Да почти то же, что и Пьер, — четыре или пять.

Они каждый раз прибегали к этой лжи, приводившей старика Ролана в восхищение.

Он намотал лесу на уключину и, скрестив руки, заявил:

— Никогда больше не буду удить после полудня. Десять пробило — и баста! Она больше не клюет, подлая, она изволит нежиться на солнышке.

Старик оглядывал море с довольным видом собственника.

В прошлом он был владельцем небольшого ювелирного магазина в Париже; страсть к воде и рыбной ловле оторвала его от прилавка, как только скромные сбережения позволили семье существовать на ренту.

Он удалился на покой в Гавр, купил рыбацью лодку и стал моряком-любителем. Оба его сына, Пьер и Жан, остались в Париже заканчивать образование, но приезжали домой на каникулы и принимали участие в развлечениях отца.

Пьер был на пять лет старше Жана. По окончании коллежа он поочередно брался за самые разнообразные профессии: он перепробовал их с полдюжины одну за другой, быстро разочаровывался в каждой и тотчас же начинал возиться с новыми планами.

В конце концов его прельстила медицина, он с большим жаром принялся за дело и только что, после сравнительно недолгих занятий, по особому разрешению министра, раньше срока получил звание доктора, он был человек восторженный, умный, непостоянный, но настойчивый, склонный увлекаться утопиями и философскими идеями.

Братья являли собой полную противоположность и по наружности, и по внутреннему складу. Младший, Жан — блондин, был ровного, спокойного нрава; Пьер — брюнет, был необуздан и обидчив. Жан окончил юридический факультет и получил диплом кандидата прав, а Пьер-диплом врача.

Теперь они оба отдыхали дома в надежде обосноваться в Гавре, если здесь подвернется что-нибудь подходящее.

Скрытая зависть, та дремлющая зависть, которая почти неощутимо растет между братьями или сестрами до возмужалости и внезапно прорывается при женитьбе или особой удаче одного из них, заставляла обоих держаться настороже и подстрекала на беззлобное соперничество. Конечно, они любили друг друга, но в то же время ревниво следили один за другим. Когда родился Жан, пятилетний Пьер с неприязнью избалованного звереныша смотрел на другого звереныша, неожиданно появившегося в объятиях отца и матери, окруженного любовью и лаской.

Жан с детских лет был образцом кротости, доброты и послушания, и Пьер с раздражением слушал беспрестанные похвалы этому толстому мальчугану, кротость которого казалась ему вялостью, доброта — глупостью, а доверчивость — тупоумием. Родители их, люди непритязательные, мечтавшие о почтенной, скромной карьере для своих сыновей, упрекали Пьера за его колебания, увлечения, за безуспешные попытки, за все его бесплодные порывы к высоким идеям и мечты о блестящем поприще.

С тех пор как он стал взрослым, ему уже не твердили:» Смотри на Жана и бери с него пример «. Но каждый раз, когда при нем говорили:» Жан поступил так, Жан поступил этак «, — он хорошо понимал смысл этих слов и скрытый в них намек.

Мать их, любящая порядок во всем, бережливая, несколько сентиментальная женщина, которая провела всю жизнь за кассой, но сохранила чувствительную душу, постоянно сглаживала соперничество, то и дело вспыхивавшее между ее двумя взрослыми сыновьями из-за всяких житейских мелочей. Вдобавок с недавних пор ее смущало одно обстоятельство, грозившее разладом между братьями: этой зимой, когда ее сыновья заканчивали образование в Париже, она познакомилась с соседкой, г-жой Роземильи, вдовой капитана дальнего плавания, погибшего в море два года тому назад. Молодая, даже совсем юная вдова, — всего двадцати трех лет, — была неглупа и, видимо, постигла жизнь инстинктом, как выросший на воле зверек; словно ей уже пришлось видеть, пережить, понять и взвесить все жизненные явления, она судила о них по-своему — здраво, узко и благожелательно. Г-жа Роземильи имела обыкновение заглядывать по вечерам к гостеприимным соседям, поболтать за рукоделием и выпить чашку чаю.

Мания разыгрывать из себя моряка постоянно подстрекала Ролана-отца спрашивать новую приятельницу об умершем капитане, и она спокойно говорила о нем, о его путешествиях, о его рассказах, как покорившаяся судьбе рассудительная женщина, которая любит жизнь и с уважением относится к смерти.

Оба сына, возвратившись домой и увидев хорошенькую вдову, часто навещавшую их, тотчас же стали за нею ухаживать, не столько из желания понравиться ей, сколько из чувства соперничества.

Матери, женщине осторожной и практичной, очень хотелось, чтобы один из них добился успеха, — молодая вдова была богата, — но она желала, чтобы другой сын не был этим огорчен.

Госпожа Роземильи была блондинка с голубыми глазами, с венком непокорных завитков, разлетавшихся при малейшем ветерке; во всем ее облике было что-то бойкое, смелое и задорное, что отнюдь не соответствовало уравновешенному и трезвому складу ее ума.

Она, казалось, уже отдавала предпочтение Жану, к которому ее влекло сходство их натур. Правда, предпочтение это проявлялось только в едва заметных оттенках голоса, в дружелюбных взорах и в том, что она нередко прибегала к его советам.

Она, казалось, угадывала, что мнение Жана только подкрепит ее собственное, между тем как мнение Пьера неизбежно окажется противоположным. Говоря о взглядах доктора, об его политических, моральных, артистических, философских воззрениях, ей случалось называть их:» Ваши бредни!» Тогда он смотрел на нее холодным взором судьи, обвиняющего женщин, всех женщин, в духовном убожестве.

До приезда сыновей старик Ролан ни разу не приглашал г-жу Роземильи на рыбную ловлю и никогда еще не брал с собою жены; он любил выходить в море до восхода солнца, со своим другом Босиром, отставным капитаном дальнего плавания, с которым познакомился в порту в час прилива, и со старым матросом Папагри, по прозвищу Жан-Барт, смотревшим за лодкой.

Но как-то вечером, неделю тому назад, г-жа Роземильи, обедая у Роланов, спросила:» А это очень весело, ловить рыбу? — и бывший ювелир, охваченный желанием заразить гостью своей манией и обратить ее в свою веру, воскликнул:

— Не хотите ли поехать?

— Хочу.

— В будущий вторник?

— Хорошо.

— А вы способны выехать в пять утра?

Она вскрикнула в изумлении:

— Ах, нет, нет, что вы!

Он был разочарован, его пыл угас, и он сразу усомнился в ее призвании рыболова.

Тем не менее он спросил:

— В котором же часу вы могли бы отправиться?

— Ну... часов в девять.

— Не раньше?

— Нет, не раньше, и то уж слишком рано!

Старик колебался. Конечно, улов будет плохой, ведь как только солнце начинает пригревать, рыба больше не клюет; но оба брата настояли на том, чтобы тут же окончательно обо всем условиться.

Итак, в следующий вторник «Жемчужина» стала на якорь у белых утесов мыса Гэв До полудня удили, потом подремали, потом снова удили, но ничего не попадалось, и старику Ролану пришлось наконец понять, что г-же Роземильи хотелось, в сущности, только покататься по морю. Когда же он убедился, что лесы больше не вздрагивают, у него и вырвалось энергичное «ах, черт!», одинаково относившееся и к равнодушной вдове, и к неуловимой рыбе.

Теперь Ролан рассматривал свой улов с трепетной радостью скупца. Но вот, подняв глаза к небу, он заметил, что солнце начинает садиться.

— Ну, дети, — сказал он, — не пора ли домой?

Братья вытащили из воды лесы, смотали их, вычистили крючки, воткнули их в пробковые поплавки и приготовились.

Ролан встал и, как подобает капитану, оглядел горизонт.

— Ветер спал, — сказал он, — беритесь за весла, дети!

И вдруг, показав на север, добавил:

— Смотрите-ка, пароход из Саутгемптона.

Вдали, на розовом небе, над спокойным морем, гладким, как необъятная голубая блестящая ткань с золотым и огненным отливом, поднималось темноватое облачко. А под ним можно было разглядеть корабль, еще совсем крохотный на таком расстоянии.

На юге виднелось немало других столбов дыма, и все они двигались к едва белевшему вдалеке гаврскому молу, на конце которого высился маяк.

Ролан спросил:

— Не сегодня ли должна прийти «Нормандия»?

Жан ответил:

— Да, папа.

— Поддай-ка подзорную трубу; думается мне, что это она и есть.

Отец раздвинул медную трубу, приставил ее к глазу, поискал корабль на горизонте и, обнаружив его, радостно воскликнул:

— Да, да, это «Нормандия», никаких сомнений. Не хотите ли посмотреть, сударыня?

Госпожа Роземильи взяла трубу, направила на океанский пароход, но, видимо, не сумела поймать его в поле зрения и ничего не могла разобрать, ровно ничего, кроме синевы, обрамленной цветным кольцом вроде круглой радуги, и каких-то странных темноватых пятен, от которых у нее закружилась голова.

Она сказала, возвращая подзорную трубу:

— Я никогда не умела пользоваться этой штукой. Муж даже сердился; а сам он способен был часами простаивать у окна, рассматривая проходящие мимо суда.

Старик Ролан ответил не без досады:

— Тут дело в каком-нибудь недостатке вашего зрения, потому что подзорная труба у меня превосходная.

Затем он протянул ее жене:

— Хочешь посмотреть?

— Нет, спасибо, я наперед знаю, что ничего не увижу.

Госпожа Ролан, сорокавосемилетняя, очень молодая женщина, несомненно, больше всех наслаждалась прогулкой и чудесным вечером.

Ее каштановые волосы только еще начинали седеть. Она казалась такой спокойной и рассудительной, доброй и счастливой, что на нее приятно было смотреть. Как говорил ее старший сын, она знала цену деньгам, но это ничуть не мешало ей предаваться мечтаниям. Она любила романы и стихи не за их литературные достоинства, но за ту нежную грусть и задумчивость, которую они навевали. Какой-нибудь стих, подчас самый банальный, даже плохой, заставлял трепетать в ней, по ее словам, какую-то струнку, внушая ей ощущение таинственного, готового осуществиться желания. И ей приятно было отдаваться этим легким волнениям, немного смущавшим ее душу, в которой обычно все было в таком же порядке, как в счетной книге.

Со времени переезда в Гавр она довольно заметно располнела, и это портило ее фигуру, некогда такую гибкую и тонкую.

Прогулка по морю была большой радостью для г-жи Ролан. Ее муж, человек вообще незлой, обращался с ней деспотически, с той беззлой грубостью, с какой лавочники имеют обыкновение отдавать приказания. Перед посторонними он еще сдерживал себя, но дома распоясывался и напускал на себя грозный вид, хотя сам всего боялся. Она же из отвращения к ссорам, семейным сценам и бесполезным объяснениям всегда уступала, никогда ничего не требовала. Уже давно она не осмеливалась просить Ролана покатасть ее по морю. Поэтому она с восторгом встретила предложение о прогулке и теперь наслаждалась неожиданным и новым для нее развлечением.

С самого отплытия она душой и телом отдалась отрадному чувству плавного скольжения по воде. Она ни о чем не думала, ее не тревожили ни воспоминания, ни надежды, и у нее было такое ощущение, будто сердце ее вместе с лодкой плывет по чему-то нежному, струящемуся, ласковому, что укачивает ее и усыпляет.

Когда отец отдал команду: «По местам, и за весла, — она улыбнулась, глядя, как ее сыновья, оба ее взрослых сына, скинули пиджаки и засучили рукава рубашек.

Пьер, сидевший ближе к обеим женщинам, взял весло с правого борта, Жан — с левого, и оба ждали, когда их капитан крикнет:» Весла на воду! — потому что старик требовал, чтобы все делалось точно по команде.

Разом опустив весла в воду, они откинулись назад, выгребая что было мочи, и тут началась ожесточенная борьба двух соперников, состязающихся в силе. Утром они вышли в море под парусом, не торопясь, но теперь ветер стих, и необходимость взяться за весла пробудила в братьях самолюбивое желание потягаться друг с другом в присутствии молодой красивой женщины.

Когда они отправлялись на ловлю одни со стариком Роланом и шли на веслах, лодкой не управлял никто; отец готовил удочки и, наблюдая за ходом лодки, выправлял его только жестом или словами: «Жан, легче, а ты, Пьер, приналяг». Или же говорил: «Ну-ка, первый, ну-ка, второй, подбавьте жару». И замечтавшийся начинал грести сильнее, а тот, кто слишком увлекся, умерял свой пыл, и ход лодки выравнивался.

Но сегодня им предстояло показать силу своих мускулов. У Пьера руки были волосатые, жилистые и несколько худые; у Жана — полные и белые, слегка розоватого оттенка, с буграми мышц, которые перекатывались под кожей.

Вначале преимущество было за Пьером. Стиснув зубы, нахмурив лоб, вытянув ноги, он греб, судорожно сжимая обеими руками весло, так что оно гнулось во всю длину при каждом рывке и «Жемчужину» относил к берегу. Ролан-отец, предоставив всю заднюю скамью дамам, сидел на носу лодки и, срывая голос, командовал: «Первый, легче; второй, приналяг?» Но первый удваивал рвение, а второй никак не мог подладиться под него в этой беспорядочной гребле.

Наконец капитан скомандовал: «Огоп!» Оба весла одновременно поднялись, и затем Жан, по приказанию отца, несколько минут греб один. Теперь он взял верх, и преимущество так и осталось за ним; он оживился, разгорячился, а Пьер, выдохшийся, обессиленный слишком большим напряжением, начал задыхаться и не поспевал за братом. Четыре раза подряд Ролан-отец приказывал остановиться, чтобы дать старшему сыну передохнуть и выправить лодку. И каждый раз Пьер, побледневший, весь в поту, чувствуя свое унижение, говорил со злостью:

— Не знаю, что со мной, у меня сердечная спазма. Начал так хорошо, а теперь просто руки отваливаются.

— Хочешь, я буду грести обоими веслами? — спрашивал Жан.

— Нет, спасибо, сейчас пройдет.

Госпожа Ролан говорила с досадой:

— Послушай, Пьер, какой смысл упрямитесь? Ведь ты не ребенок.

Но он пожимал плечами и продолжал грести.

Госпожа Роземильи, казалось, ничего не видела, не понимала, не слышала. Ее белокурая головка при каждом толчке откидывалась назад быстрым, красивым движением, и на ее висках разлетались завитки волос.

Но вот Ролан воскликнул: «Смотрите-ка, нас нагоняет» Принц Альберт «! Все оглянулись. Длинный низкий пароход из Саутгемптона приближался полным ходом; у него были две наклоненные назад трубы, желтые, круглые, как щеки, кожухи над колесами, а над

переполненной пассажирами палубой реяли раскрытые зонтики. Колеса быстро вращались, с шумом вспенивая воду, и казалось, что это гонец, который спешит изо всех сил; прямой нос рассекал поверхность моря, вздымая две тонкие и прозрачные струи, скользившие вдоль бортов.

Когда «Принц Альберт» приблизился к «Жемчужине», старик Ролан приподнял шляпу, дамы замахали платочками, и несколько зонтиков, колыхнувшись, ответили на это приветствие; затем судно удалилось, оставив за собой на ровной и блестящей поверхности моря легкую зыбь.

Видны были и другие корабли, окутанные клубами дыма, стремившиеся со всех сторон к короткому белому молу, за которым, словно в пасти, они исчезали один за другим. И рыбацьи лодки, и большие парусники с легкими мачтами, скользящие на фоне неба, влекомые едва заметными буксирами, — все они быстро или медленно приближались к этому прожорливому чудовищу, которое порою, словно пресытаясь, изрыгало в открытое море новую флотилию пакетботов, бригов, шхун, трехмачтовиков со сложным сплетением снастей. Торопливые пароходы разбегались вправо и влево по плоскому лону океана, а парусники, покинутые маленькими буксирами, стояли недвижно, облекаясь с грот-марса до брам-стенги в паруса, то белые, то коричневые, казавшиеся алыми в лучах заката.

Госпожа Ролан, полузакрыв глаза, прошептала:

— Ах, боже мой, как море красиво!

Госпожа Роземилья ответила глубоким вздохом без всякого, впрочем, оттенка печали:

— Да, но иногда оно причиняет немало зла.

Ролан воскликнул:

— Смотрите-ка, «Нормандия» входит в порт. Ну и громадина!

Потом, указывая на противоположный берег, по ту сторону устья Сены, он пустился в объяснения; сообщил, что устье шириной в двадцать километров; показал Виллервиль, Трувиль, Ульгат, Люк, Арроманш, и реку Кан, и скалы Кальвадоса, опасные для судов вплоть до самого Шербура. Далее он рассказал о песчаных отмелях Сены, которые перемещаются при каждом приливе, чем сбивают с толку даже лоцманов из Кийбефа, если те ежедневно не проверяют фарватер в Ла-Манше. Упомянул о том, что Гавр отделяет Нижнюю Нормандию от Верхней; что в Нижней Нормандии пастбища, луга и поля отлогого берега спускаются к самому морю. Берег Верхней Нормандии, наоборот, почти отвесный: это высокий, величественный кряж, весь в зубцах и выемках; он тянется до Дюнкерка как бы огромной белой стеной, в каждой расщелине которой приютилось селение или порт — Этрета, Фекан, Сен-Валери, Ле-Трепор, Дьеп и так далее.

Женщины не слушали Ролана; они отдавались приятному оцепенению, созерцая океан, на котором, словно звери вокруг своего логовища, суетились корабли; обе они молчали, слегка подавленные беспредельной ширью неба и воды, зачарованные картиной великолепного заката. Один Ролан говорил без умолку, он был не из тех, кого легко вывести из равновесия. Но женщины наделены большей впечатлительностью, и порой ненужная болтовня оскорбляет их слух, как грубое слово.

Пьер и Жан, уже не думая о соревновании, гребли размеренно, и «Жемчужина», такая крошечная рядом с большими судами, медленно приближалась к порту.

Когда она причалила, матрос Папагри, поджидавший ее, протянул дамам руку, помог им сойти на берег, и все направились в город. Множество гуляющих, которые, как обычно в часы прилива, толпились на молу, также расходились по домам.

Госпожа Ролан и г-жа Роземильи шли впереди, трое мужчин следовали за ними. Поднимаясь по Парижской улице, дамы останавливались иногда перед модным магазином или перед витриной ювелира; полюбовавшись шляпкой или ожерельем, они обменивались замечаниями и шли дальше.

Перед площадью Биржи старик Ролан, по своему обыкновению, остановился взглянуть на торговую гавань, полную кораблей, и на примыкающие к ней другие гавани, где стояли бок о бок в четыре-пять рядов огромные суда. Пристани тянулись на несколько километров; бесчисленные мачты, реи, флагштоки, снасти придавали этому водоему, расположенному посреди города, сходство с густым сухостойным лесом. А над этим безлиственным лесом кружили морские чайки, подстерегая мгновение, чтобы камнем упасть на выкидываемые в море отбросы; юнга, прикрепляющий блок к верхушке бом-брамсели, казалось, забрался туда за птичьими гнездами.

— Может быть, вы пообедаете с нами запросто и проведете у нас вечер? — спросила г-жа Ролан г-жу Роземильи.

— С удовольствием; принимаю без церемоний. Мне было бы грустно остаться сегодня в полном одиночестве.

Пьер, который невольно злился на молодую женщину за ее равнодушие к нему, услышав эти слова, проворчал: «Ну, теперь вдову не выживешь». Уже несколько дней, как он стал именовать ее «вдовой». В самом слове не было ничего обидного, но оно сердило Жана, — тон, которым его произносил Пьер, казался ему злобным и оскорбительным.

Мужчины остаток пути прошли молча. Роланы жили на улице Прекрасной Нормандки в небольшом трехэтажном доме. Жозефина, девушка лет девятнадцати, взятая прямо из деревни ради экономии, с характерным для крестьянки удивленным и тупым выражением лица отворила дверь, заперла ее, поднялась следом за хозяевами в гостиную, расположенную во втором этаже, и только тогда доложила:

— Какой-то господин заходил три раза.

Ролан-отец, обращавшийся к служанке не иначе, как с криком и руганью, рявкнул:

— Кто еще там приходил, чучело ты этакое!

Жозефина, которую нимало не смущали окрики хозяина, ответила:

— Господин от нотариуса.

— От какого нотариуса?

— Да от господина Каню.

— Ну и что же он сказал?

— Сказал, что господин Каню сам зайдет нынче вечером.

Господин Леканю, нотариус, вел дела старика Ролана и был с ним на короткой ноге. Если он счел нужным предупредить о своем посещении, значит, речь шла о каком-то важном деле, не терпящем отлагательств; и четверо Роланов переглянулись, взволнованные новостью, как это всегда бывает с людьми скромного достатка при появлении нотариуса, ибо оно знаменует перемену в их жизни, вступление в брак, ввод в наследство, начало тяжбы и прочие приятные или грозные события.

Ролан-отец, помолчав с минуту, проговорил:

— Что бы это могло значить?

Госпожа Роземильи рассмеялась:

— Это, наверно, наследство Вот увидите. Я приношу счастье.

Но они не ожидали смерти никого из близких, кто мог бы им что-нибудь оставить.

Госпожа Ролан, обладавшая превосходной памятью на родню, тотчас же принялась перебирать всех родственников мужа и своих собственных по восходящей линии и припоминать все боковые ветви.

Еще не сняв шляпки, она приступила к расспросам:

— Скажи-ка, отец (дома она называла мужа «отец», а при посторонних иногда «господин Ролан»), скажи-ка, не помнишь ли ты, на ком женился вторым браком Жозеф Лебрю?

— Помню На Дюмениль, дочери бумажного фабриканта.

— А у них были дети?

— Как же, четверо или пятеро по меньшей мере.

— Значит, с этой стороны ничего не может быть.

Она уже увлеклась этими розысками, уже начала надеяться, что им свалится с неба хотя бы небольшое состояние. Но Пьер, очень любивший мать, зная ее склонность к мечтам и боясь, что она будет разочарована, расстроена и огорчена, если новость окажется плохой, а не хорошей, удержал ее.

— Не обольщайся, мама. Американских дядюшек больше не бывает. Скорее всего, дело идет о партии для Жана.

Все были удивлены таким предположением, а Жан почувствовал досаду, оттого что брат заговорил об этом в присутствии г-жи Роземильи.

— Почему для меня, а не для тебя? Твое предположение очень спорно. Ты старший, значит, прежде всего подумали бы о тебе. И вообще я не собираюсь жениться.

Пьер усмехнулся.

— Уж не влюблен ли ты?

Жан поморщился.

— Разве непременно надо быть влюбленным, чтобы сказать, что покамест не собираешься жениться?

— «Покамест». Это дело другое; значит, ты выжидаешь?

— Допустим, что выжидаю, если тебе угодно.

Ролан-отец слушал, размышлял и вдруг нашел наиболее вероятное решение вопроса:

— Глупость какая! И чего мы ломаем голову? Господин Леканю наш друг, он знает, что Пьеру нужен врачебный кабинет, а Жану адвокатская контора; вот он и нашел что-нибудь подходящее.

Это было так просто и правдоподобно, что не вызвало никаких возражений.

— Кушать подано, — сказала служанка.

И все разошлись по своим комнатам, чтобы умыться перед обедом.

Десять минут спустя они уже собрались в маленькой столовой первого этажа.

Несколько минут прошло в молчании, потом Роланотец опять начал вслух удивляться предстоящему визиту нотариуса.

— Но почему он не написал нам, почему три раза присылал клерка, почему намерен прийти лично?

Пьер находил это естественным:

— Ему, наверно, нужно тотчас же получить ответ или сообщить нам о каких-нибудь особых условиях, о которых предпочитают не писать.

Однако все четверо были озабочены и несколько досадовали на себя, что пригласили постороннего человека, который может стеснить их при обсуждении дела и принятии решений.

Как только они опять поднялись в гостиную, доложили о приходе нотариуса.

Ролан бросился ему навстречу:

— Здравствуйте, дорогой мэтр.

Он как бы титуловал г-на Леканю этим словом «мэтр», которое предшествует фамилии всякого нотариуса.

Госпожа Роземильи поднялась:

— Я пойду, я очень устала.

Была сделана слабая попытка удержать ее, но она не согласилась остаться; и в этот вечер, против обыкновения, никто из троих мужчин не пошел ее провожать.

Госпожа Ролан хлопотала вокруг нового гостя.

— Не хотите ли чашку кофе?

— Нет, благодарю, я только что из-за стола.

— Может быть, чаю выпьете?

— Не откажусь, но попозже; сначала поговорим о делах.

Глубокая тишина последовала за этими словами. Нарушал ее только размеренный ход стенных часов да в нижнем этаже служанка гремела посудой: Жозефина была до того глупа, что даже не догадывалась подслушивать у дверей.

Нотариус начал с вопроса:

— Вы знали в Париже некоего господина Марешаля, Леона Марешаля?

Господин и г-жа Ролан воскликнули в один голос:

— Еще бы!

— Он был вашим другом?

Ролан объявил:

— Лучшим другом, сударь! Но это закоренелый парижанин; он не может расстаться с парижскими бульварами. Начальник отделения в министерстве финансов. После отъезда из столицы я с ним больше не встречался. А потом и переписку прекратили. Знаете, когда живешь так далеко друг от друга...

Нотариус торжественно произнес:

— Господин Марешаль скончался!

У супругов Ролан тотчас же появилось на лице то произвольное выражение горестного испуга, притворного или искреннего, с каким встречают подобное известие.

Господин Леканю продолжал:

— Мой парижский коллега только что сообщил мне главное завещательное распоряжение покойного, в силу которого все состояние господина Марешаля переходит к вашему сыну Жану, господину Жану Ролану.

Всеобщее изумление было так велико, что никто не проронил ни слова.

Госпожа Ролан первая, подавляя волнение, пролепетала:

— Боже мой, бедный Леон... наш бедный друг... боже мой... боже мой... Умер!

На глазах у нее выступили слезы, молчаливые женские слезы, капли печали, как будто исторгнутые из души, которые, струясь по щекам, светлые, и прозрачные, сильнее слов выражают глубокую скорбь.

Но Ролан гораздо меньше думал о кончине друга, нежели о богатстве, которое сулила новость, принесенная нотариусом. Однако он не решился напрямик заговорить о статьях завещания и о размере наследства и только спросил, чтобы подойти к волновавшему его вопросу:

— От чего же он умер, бедняга Марешаль?

Господину Леканю это было совершенно неизвестно.

— Я знаю только, — сказал он, — что, не имея прямых наследников, он оставил все свое состояние, около двадцати тысяч франков ренты в трехпроцентных бумагах, вашему младшему сыну, который родился и вырос на его глазах и которого он считает достойным этого дара. В случае отказа со стороны господина Жана наследство будет передано приюту для детей, брошенных родителями.

Ролан-отец, уже не в силах скрывать свою радость, воскликнул:

— Черт возьми, вот это поистине благородная мысль! Не будь у меня потомства, я тоже, конечно, не забыл бы нашего славного друга!

Нотариус просиял.

— Мне очень приятно, — сказал он, — сообщить вам об этом лично. Всегда радостно принести добрую весть.

Он и не подумал о том, что эта добрая весть была о смерти друга, лучшего друга старика Ролана, да тот и сам внезапно позабыл об этой дружбе, о которой только что заявлял столь горячо.

Только г-жа Ролан и оба сына сохраняли печальное выражение лица. Она все еще плакала, вытирая глаза платком и прижимая его к губам, чтобы удержать всхлипыванья.

Пьер сказал вполголоса:

— Он был хороший, сердечный человек. Мы с Жаном часто обедали у него.

Жан, широко раскрыв загоревшиеся глаза, привычным жестом гладил правой рукой свою густую белокурую бороду, пропуская ее между пальцами до последнего волоска, словно хотел, чтобы она стала длинней и уже.

Дважды он раскрывал рот, чтобы тоже произнести приличествующие случаю слова, но, ничего не придумав, сказал только:

— Верно, он очень любил меня и всегда целовал, когда я приходил навещать его.

Но мысли отца мчались галопом; они носились вокруг вести о неожиданном наследстве, уже как будто полученном, вокруг денег, словно скрывавшихся за дверью и готовых хлынуть сюда сейчас же, завтра же, по первому слову.

Он спросил:

— А затруднений не предвидится?.. Никаких тяжб?

Никто не может оспорить завещание?

Господин Леканю, видимо, был совершенно спокоен на этот счет.

— Нет, нет, мой парижский коллега сообщает, что все абсолютно ясно. Нам нужно только согласие господина Жана.

— Отлично, а дела покойник оставил в порядке?

— В полном.

— Все формальности соблюдены?

— Все.

Но тут бывший ювелир почувствовал стыд — неосознанный мимолетный стыд за ту поспешность, с какой он наводил справки.

— Вы же понимаете, — сказал он, — что я так сразу обо всем спрашиваю потому, что хочу оградить сына от неприятностей, которых он может и не предвидеть. Иногда бывают долги, запутанные дела, мало ли что, и можно попасть в затруднительное положение. Не мне ведь получать наследство, я справляюсь ради малыша.

Жана всегда звали в семье «малышом», хотя он был голову выше Пьера.

Госпожа Ролан, словно очнувшись от сна и смутно припоминая что-то далекое, почти позабытое, о чем когда-то слышала, — а быть может, ей только померещилось, — проговорила, запинаясь:

— Вы, кажется, сказали, что наш бедный друг оставил наследство моему сыну Жану?

— Да» сударыня.

Тогда она добавила просто:

— Я очень рада: это доказывает, что он нас любил.

Ролан поднялся:

— Вам угодно, дорогой мэтр, чтобы сын мой тотчас же дал письменное согласие?

— Нет, нет, господин Ролан. Завтра. Завтра у меня в конторе, в два часа, если вам удобно.

— Конечно, конечно, еще бы!

Госпожа Ролан тоже поднялась, улыбаясь сквозь слезы: она подошла к нотариусу, положила руку на спинку его кресла и, глядя на г-на Леканю растроганным и благодарным взглядом матери, спросила:

— Чашечку чаю?

— Теперь пожалуйста, сударыня, с удовольствием.

Позвали служанку, она принесла сначала сухое печенье — пресные и ломкие английские бисквиты, как будто предназначенные для клюва попугаев, которые хранятся в наглухо запаянных металлических банках, чтобы выдержать кругосветное путешествие. Потом она пошла за суровыми салфетками, теми сложенными вчетверо чайными салфетками, которые никогда не стираются в небогатых семьях. В третий раз она вернулась с сахарницей и чашками, а затем отправилась вскипятить воду. Все молча ждали.

Говорить никому не хотелось; о многом следовало подумать, а сказать было нечего. Одна только г-жа Ролан пыталась поддерживать разговор. Она рассказала о рыбной ловле, перевозила «Жемчужину», хвалила г-жу Роземильи.

— Она прелестна, прелестна, — поддакивал нотариус.

Ролан-отец, опершись о камин, — как бывало зимой, когда горел огонь, — засунул руки в карманы и вытянул губы, словно собираясь засвистеть: его томило неодолимое желание дать волю своему ликованию.

Братья, одинаково закинув ногу на ногу, сидели в двух одинаковых креслах по левую и правую сторону круглого стола, стоявшего посреди комнаты, и пристально смотрели перед собой; сходство позы еще сильней подчеркивало разницу в выражении их лиц.

Наконец подали чай. Нотариус взял чашку, положил сахару и выпил чай, предварительно накрошив в него небольшой бисквит, слишком твердый, чтобы его разгрызть; потом он встал, пожал руки и вышел.

— Итак, — повторил Ролан, прощаясь с гостем, — завтра в два часа, у вас в конторе.

— Да, завтра в два.

Жан не промолвил ни слова.

После ухода нотариуса некоторое время еще длилось молчание, затем старик Ролан, хлопнув обеими руками по плечам младшего сына, воскликнул:

— Что же ты, подлец, не поцелуешь меня?

Жан улыбнулся и поцеловал отца.

— Я не знал, что это необходимо.

Старик уже не скрывал своей радости. Он кружил по комнате, барабанил неуклюжими пальцами по мебели, повертывался на каблуках и повторял:

— Какая удача! Что за удача! Вот это удача!

Пьер спросил:

— Вы, стало быть, близко знали Марешаля в Париже?

Отец ответил:

— Еще бы, черт возьми! Да он все вечера просиживал у нас; ты, верно, помнишь, как он заходил за тобой в коллеж в отпускные дни и как часто провожал тебя туда после обеда. Да вот в то утро, когда родился Жан, именно Марешаль и побежал за доктором. Он завтракал у нас, твоя мать почувствовала себя плохо. Мы тотчас поняли, в чем дело, и он бросился со всех ног. Впопыхах он еще вместо своей шляпы захватил мою. Я потому это помню, что после мы очень смеялись над этим. Может быть, и в смертный час ему вспомнился этот случай, а так как у него не было наследников, он и сказал себе: «Раз уж я помог этому малышу родиться, оставлю-ка я ему свое состояние».

Госпожа Ролан, откинувшись на спинку глубокого кресла, казалось, вся ушла в воспоминания о прошлом. Она прошептала, как будто размышляя вслух:

— Ах, это был добрый друг, беззаветно преданный и верный, редкий человек по нынешним временам.

Жан поднялся.

— Я пройдусь немного, — сказал он.

Отец удивился и попробовал его удержать, — ведь нужно было еще кое-что обсудить, обдумать, принять коекакие решения. Но Жан заупрямился, отговариваясь условленной встречей. К тому же до введения в наследство будет еще достаточно времени, чтобы обо всем потолковать.

И он ушел; ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Пьер заявил, что тоже уходит, и через несколько минут последовал за братом.

Когда супруги остались одни, старик Ролан схватил жену в объятия, расцеловал в обе щеки и сказал, как бы отводя упрек, который она часто ему делала:

— Видишь, дорогая, богатство свалилось нам с неба. Вот и незачем мне было торчать дольше в Париже, надрывая здоровье ради детей, вместо того чтобы перебраться сюда.

Госпожа Ролан нахмурилась.

— Богатство свалилось с неба для Жана, — сказала она, — а Пьер?

— Пьер? Но он врач, он без куска хлеба не будет... да и брат, конечно, поможет ему.

— Нет, Пьер не примет помощи. Наследство досталось Жану, одному Жану. Пьер оказался жестоко обделенным.

Старик, видимо, смутился:

— Так мы откажем ему побольше.

— Нет. Это тоже будет несправедливо.

Тогда он рассердился:

— А ну тебя совсем! Я-то тут при чем? Вечно ты выкопаешь какую-нибудь неприятность. Непременно надо испортить мне настроение. Пойду-ка лучше спать. Покойной ночи. Что ни говори, это удача, чертовская удача!

И он вышел, радостный и счастливый, так и не обмолвясь ни словом сожаления о покойном друге, который перед смертью столь щедро одарил его семью.

А г-жа Ролан снова погрузилась в раздумье, пристально глядя в коптящее пламя догорающей лампы.

II

Выйдя из дому, Пьер направился в сторону Парижской улицы, главной улицы Гавра, людной, шумной, ярко освещенной. Свежий морской ветер ласкал ему лицо, и он шел медленно, с тросточкой под мышкой, заложив руки за спину.

Ему было не по себе, он чувствовал какую-то тяжесть, недовольство, словно получил неприятное известие. Он не мог бы сказать, что именно его огорчает, отчего так тоскливо на душе и такая расслабленность во всем теле. Он испытывал боль, но что болело, он и сам не знал... Где-то в нем таилась болезненная точка, едва ощутимая ссадина, место которой трудно определить, но которая все же не дает покоя, утомляет, мучает, — какое-то неизведанное страдание, крупца горя.

Когда он дошел до площади Театра и увидел ярко освещенные окна кафе Тортони, ему захотелось зайти туда, и он медленно направился к входу. Но в последнюю минуту он подумал, что встретит там приятелей, знакомых, что с ними придется разговаривать, и его внезапно охватило отвращение к мимолетной дружбе, которая завязывается за чашкой кофе и за стаканом вина. Он повернул обратно и снова пошел по главной улице, ведущей к порту.

Он спрашивал себя: «Куда же мне пойти? — мысленно ища место, которое бы его привлекло и отвечало бы его душевному состоянию. Но ничего не мог придумать, потому что, хотя он и тяготился одиночеством, ему все же не хотелось ни с кем встречаться.

Дойдя до набережной, он с минуту постоял в нерешительности, потом свернул к молу: он избрал одиночество.

Наткнувшись на скамью, стоявшую у волнореза, он сел на нее, чувствуя себя уже утомленным, потеряв вкус к едва начавшейся прогулке.

Он спросил себя: «Что со мной сегодня?» — и стал рыться в своей памяти, доискиваясь, не было ли какой неприятности, как врач расспрашивает больного, стараясь найти причину недуга.

У него был легко возбудимый и в то же время трезвый ум; он быстро увлекался, но потом начинал рассуждать, одобряя или осуждая свои порывы; однако в конечном счете побеждало преобладающее свойство его натуры, и человек чувств в нем всегда брал верх над человеком рассудка.

Итак, он старался понять, откуда взялось это раздражение, эта потребность бродить без цели, смутное желание встретить кого-нибудь для того лишь, чтобы затеять спор, и в то же время отвращение ко всем людям, которых он мог бы встретить, и ко всему, что они могли бы ему сказать.

И он задал себе вопрос: «Уж не наследство ли Жана?»

Да, может быть, и так.

Когда нотариус объявил эту новость, Пьер почувствовал, как у него забилося сердце. Ведь человек не всегда властен над собою, нередко им овладевают страсти внезапные и неодолимые, и он тщетно борется с ними.

Он глубоко задумался над физиологическим воздействием, которое может оказывать любое событие на наше подсознание, вызывая поток мыслей и ощущений мучительных или отрадных; зачастую они противоречат тем, к которым стремится и которые признает здоровыми и справедливыми наше мыслящее» я «, поднявшееся на более высокую ступень благодаря развившемуся уму.

Он старался представить себе душевное состояние сына, получившего большое наследство: теперь он может насладиться множеством долгожданных радостей, недоступных ранее из-за отцовской скупости; но все же он любил отца и горько оплакивал его.

Пьер встал и зашагал к концу мола. На душе у него стало легче, он радовался, что понял, разгадал самого себя, что разоблачил второе существо, таящееся в нем.

«Итак, я позавидовал Жану, — думал он — По правде говоря, это довольно низко! Теперь я в этом убежден, так как прежде всего у меня мелькнула мысль, что он женится на госпоже Роземильи. А между тем я вовсе не влюблен в эту благоразумную куклу, она способна только внушить отвращение к здоровому смыслу и житейской мудрости. Следовательно, это не ревность, это зависть, и зависть беспредметная, в ее чистейшем виде, зависть ради зависти! Надо следить за собой!»

Дойдя до сигнальной мачты, указывающей уровень воды в порту, он чиркнул спичкой, чтобы прочесть список судов, стоявших на рейде в ожидании прилива. Тут были пакетботы из Бразилии, Ла-Платы, Чили и Японии, два датских брига, норвежская шхуна и турецкий пароход, которому Пьер так удивился, как если бы прочел» швейцарский пароход «; и ему представился, словно в каком-то причудливом сне, большой корабль, где» взбираются по мачтам люди в тюрбанах и шароварах.

«Какая глупость, — подумал он, — ведь турки — морской народ!»

Пройдя еще несколько шагов, он остановился, чтобы посмотреть на рейд. С правой стороны, над Сент-Адресс, на мысе Гэв, два электрических маяка, подобно близнецам-циклопам, глядели на море долгим, властным взглядом. Выйдя из двух смежных очагов света, оба параллельных луча, словно гигантские хвосты комет, спускались прямой, бесконечной, наклонной линией с высшей точки берега к самому горизонту. На обоих молах два других огня, отпрыски этих колоссов, указывали вход в Гавр; а дальше, по ту сторону Сены, виднелись еще огни, великое множество огней: они были неподвижны или мигали, вспыхивали или гасли, открывались или закрывались — точно глаза, желтые, красные, зеленые глаза порта, стерегущие темное море, покрытое судами, точно живые глаза гостеприимной земли, которые одним механическим движением век, неизменным и размеренным, казалось, говорили: «Я здесь. Я — Трувиль, я — Онфлер, я — Понт-Одмер». А маяк Этувилля, вознесясь над всеми огнями в такую высь, что издали его можно было принять за планету, указывал путь в Руан меж песчаных отмелей вокруг устья Сены.

Над глубокой, над беспредельной водой, более темной, чем небо, там и сям, словно мелкие звездочки, виднелись огоньки. Они мерцали в вечерней мгле, то близкие, то далекие, белым, зеленым или красным светом. Почти все они были неподвижны, но иные как будто

перемещались; это были огни судов, стоявших на якоре или еще только идущих на якорную стоянку.

Но вот в вышине, над крышами города, возшла луна, словно и она была огромным волшебным маяком, зажженным на небосклоне, чтобы указывать путь бесчисленной флотилии настоящих звезд.

Пьер проговорил почти вслух:

— А мы-то здесь портим себе кровь из-за всякого вздора!

Вдруг близ него, в широком, черном пролете между двумя молами, скользнула длинная причудливая тень. Перегнувшись через гранитный парапет, Пьер увидел возвращавшуюся в порт рыбацью лодку; ни звука голосов, ни всплеска волн, ни шума весел не доносилось с нее; она шла неслышно, ветер с моря, надувал ее высокий темный парус.

Пьер подумал: «Если жить в рыбацкой лодке, пожалуй, можно было бы найти покой!» Потом, пройдя еще несколько шагов, он заметил человека, сидевшего на конце мола.

Кто же это? Мечтатель, влюбленный мудрец, счастливец или горемыка? Пьер приблизился, ему хотелось увидеть лицо этого отшельника; и вдруг он узнал брата.

— А-а, это ты, Жан?

— А-а... Пьер... Что ты здесь делаешь?

— Решил подышать свежим воздухом. А ты?

Жан рассмеялся:

— Я тоже дышу свежим воздухом.

Пьер сел рядом с братом.

— Очень красиво, правда?

— Да, красиво.

По звуку голоса он понял, что Жан ничего не видел. Пьер продолжал:

— Когда я здесь, мной овладевает страстное желание уехать, уйти на этих кораблях куда-нибудь на север или на юг. Подумать только, что эти огоньки прибывают со всех концов света, из стран, где благоухают огромные цветы, где живут прекрасные девушки, белые или меднокожие, из стран, где порхают колибри, бродят на свободе слоны, львы, где правят негритянские царьки, из всех тех стран, что стали сказками, потому что мы не верим больше ни в Белую Кошечку, ни в Спящую Красавицу. Да, недурно было бы побаловать себя прогулкой в дальние края, но для этого нужны средства, и не малые...

Он вдруг замолчал, вспомнив, что у брата есть теперь эти средства, что, избавленный от всех забот, от каждодневного труда, свободный, ничем не связанный, счастливый, радостный, он может отправиться, куда ему вздумается, — к белокурым шведкам или к черноволосым женщинам Гаваны.

Но тут, как это часто бывало с ним, у него внезапно и мгновенно пронеслось в уме: «Куда ему! Он слишком глуп, он женится на вдове, только и всего». Такие мысли приходили ему в голову вопреки его воле, и он не мог ни предвидеть их, ни предотвратить, ни изменить, словно они исходили от его второй, своенравной и необузданной, души.

Пьер встал со скамьи.

— Оставляю тебя мечтать о будущем; мне хочется пройтись.

Он пожал брату руку и сказал с большой теплотой:

— Ну, мой маленький Жан, вот ты и богач! Я очень доволен, что мы встретились здесь и я могу сказать тебе с глазу на глаз, как это меня радует, как сердечно я тебя поздравляю и как сильно люблю.

Жан, кроткий и ласковый от природы, растроганно пробормотал:

— Спасибо... спасибо... милый Пьер, спасибо тебе.

Пьер повернулся и медленно зашагал по молу, заложив руки за спину, с тросточкой под мышкой.

Вернувшись в город, он снова спросил себя, куда же ему деваться: он досадовал на то, что прогулка рано оборвалась, что встреча с братом помешала ему посидеть у моря.

Вдруг его осенила мысль: «Зайду-ка я выпить стаканчик у папаши Маровско», — и он направился к кварталу Энгувиль.

С папашей Маровско он познакомился в клинике, в Париже. Ходили слухи, что этот старый поляк — политический эмигрант, участник бурных событий у себя на родине; приехав во Францию, он заново сдал экзамен на фармацевта и вернулся к своему ремеслу. О прошлой его жизни никто ничего не знал; поэтому среди студентов и практикантов, а впоследствии среди соседей о нем слагались целые легенды. Репутация опасного заговорщика, нигилиста, цареубийцы, бесстрашного патриота, чудом ускользнувшего от смерти, пленила легко воспламеняющееся воображение Пьера Ролана; он подружился со старым поляком, но так и не добился от него никаких признаний о прежней его жизни. Из-за Пьера старик и переехал в Гавр и обосновался тут, рассчитывая, что молодой врач доставит ему хорошую клиентуру.

А пока он кое-как перебивался в своей скромной аптеке, продавая лекарства лавочникам и рабочим своего квартала.

Пьер частенько под вечер заходил к нему побеседовать часок-другой; ему нравилась невозмутимость старика, немногословная его речь, прерываемая длинными паузами, так как он видел в этом признак глубокомыслия и мудрости.

Один-единственный газовый рожок горел над прилавком, заставленным пузырьками. Витрина ради экономии освещена не была. На стуле, стоявшем за прилавком, вытянув ноги, уткнувшись подбородком в грудь, сидел старый плешивый человек и крепко спал. Большой нос, похожий на клюв, и облысевший лоб придавали спящему унылый вид попугая.

От звона колокольчика старик проснулся и, узнав доктора, вышел ему навстречу, протягивая обе руки.

Его черный сюртук, испещренный пятнами от кислот и сиропов, чересчур просторный для тощего маленького тела, смахивал на старую сутану; аптекарь говорил с сильным польским акцентом и очень тоненьким голосом, отчего казалось, что это лепечет маленький ребенок, который еще только учится говорить.

Когда Пьер сел напротив старика, тот спросил:

— Что нового, дорогой доктор?

— Ничего. Все то же.

— Вы что-то невеселы нынче.

— Я редко бываю веселым.

— Я вижу, вам надо встряхнуться. Хотите выпить чего-нибудь?

— С удовольствием.

— Сейчас я угощу вас моим новым изделием. Вот уже два месяца я стараюсь состряпать что-нибудь из смородины; до сих пор из нее изготавливали только сиропы... Ну, а я добился... я добился... хорошая настойка, прямо отличная!

Очень довольный, он подошел к шкафу, открыл дверцу и достал бутылочку. В его походке и во всех его движениях было что-то недоделанное, незавершенное: никогда он не вытягивал руки во всю длину, не расставлял широко ноги, не делал ни одного законченного, решительного жеста. Таковы же были его мысли: он как бы обещал их, намечал, набрасывал, подразумевал, но никогда не высказывал.

Главной заботой его жизни, по видимому, было изготовление сиропов и настоек «На хорошем сиропе или хорошей настойке наживают состояние», — любил он повторять.

Он изобрел сотни сладких наливок, но ни одна из них не имела успеха Пьер утверждал, что Маровско напоминает ему Марата.

На лотке, служившем для приготовления лекарств, старик принес из задней комнаты две рюмки и наполнил их; подняв рюмки к газовому рожку, собеседники принялись рассматривать жидкость.

— Какой чудесный цвет, прямо рубиновый! — сказал Пьер.

— Не правда ли?

Старческое лицо поляка, напоминавшее попугая, так и сияло.

Доктор отхлебнул, посмаковал, подумал, еще раз отхлебнул и объявил:

— Хороша, очень хороша! И какой-то вкус необычный Да это находка, дорогой мой!

— Вам нравится? Я очень рад.

Маровско попросил у доктора совета, как ему окрестить свое изобретение; он хотел назвать его «настой из смородины», или «смородиновая наливка», или «смородин», и даже «смородилка».

Пьер не одобрил ни одного из этих названий.

Старик предложил:

— А может быть, так, как вы сейчас сказали: «Рубиновая»?

Но доктор отверг и это название, хотя оно и было найдено им самим, а посоветовал назвать наливку просто «смородиновой». Маровско объявил, что это великолепно.

Потом они умолкли и просидели несколько минут под одиноким газовым рожком, не произнося ни слова.

Наконец у Пьера вырвалось почти против воли:

— А у нас новость, и довольно странная: умер один из приятелей отца и оставил все свое состояние моему брату.

Аптекарь как будто не сразу понял, но, помедлив, высказал надежду, что половина наследства достанется доктору. Когда же Пьер объяснил, как обстоит дело, аптекарь выразил крайнее удивление и досаду; рассерженный тем, что его молодого друга обошли, он несколько раз повторил.

— Это произведет дурное впечатление.

Пьер, которому опять стало не по себе, пожелал узнать, что Маровско имеет в виду. Почему это произведет дурное впечатление? Что тут дурного, если его брат наследует состояние близкого друга их семьи?

Но осторожный старик ничего не прибавил в объяснение своих слов.

— В таких случаях обоим братьям оставляют поровну. Вот увидите, это произведет дурное впечатление.

Пьер ушел раздосадованный, возвратился в родительский дом и лег спать.

Некоторое время он еще слышал тихие шаги Жана в соседней комнате, потом выпил два стакана воды и заснул

III

Пьер проснулся на другой день с твердым намерением добиться успеха в жизни.

Не впервые приходил он к этому решению, но ни разу не пытался осуществить его. Когда он пробовал силы на новом поприще, надежда быстро разбогатеть некоторое время поддерживала в нем энергию и уверенность в себе; но первое препятствие, первая неудача заставляли его искать нового пути.

Зарывшись в теплую постель, он предавался размышлениям. Сколько врачей за короткий срок стали миллионерами! Для этого нужна только известная ловкость; ведь за годы учения он имел случай узнать цену самым знаменитым профессорам и считал их осликами. Уж он-то стоит не меньше, чем они, а может быть, и больше. Если только ему удастся завоевать аристократическую и богатую клиентуру Гавра, он с легкостью будет зарабатывать по сотне тысяч франков в год. И он принимался тщательно подсчитывать будущий верный доход. Утром он отправляется из дому навещать больных. Если взять в среднем на худой конец десять человек в день, по двадцать франков с каждого, это даст самое меньшее семьдесят две тысячи франков в год, даже семьдесят пять: ведь наверняка будет не десять больных, а больше. После обеда он принимает у себя в кабинете также в среднем десять пациентов по десяти франков; итого, положим, тридцать шесть тысяч франков. Вот вам и сто двадцать тысяч франков — сумма кругленькая. Старых пациентов и друзей он будет посещать за десять франков и принимать у себя за пять; это, может быть, слегка уменьшит итог, но возместится консилиумами и разными случайными доходами, всегда перепадающими врачу.

Достигнуть всего этого совсем нетрудно при помощи умелой рекламы, например, заметок в «Фигаро», указывающих на то, что парижские медицинские круги пристально следят за поразительными методами лечения, применяемыми молодым и скромным гаврским медиком. Он станет богаче брата, и не только богаче — он будет знаменит и счастлив, потому что своим состоянием будет обязан только себе; и он щедро одарит своих старых родителей, по праву гордящихся его известностью. Он не женится, чтобы не связать себя на всю жизнь с одной-единственной женщиной, но у него будут любовницы — какие-нибудь хорошенькие пациентки.

Он почувствовал такую уверенность в успехе, что вскочил с постели, словно желая тотчас овладеть им, и, быстро одевшись, пустился на поиски подходящего помещения.

Бродя по улицам, он думал о том, до чего ничтожны побудительные причины наших поступков. Он мог бы, он должен был бы прийти к этому решению еще три недели тому назад, а оно внезапно родилось только теперь и, несомненно, потому, что его брат получил наследство.

Он останавливался только перед теми дверьми, где висело объявление, извещавшее о сдаче хорошей или роскошной квартиры; от предложений без этих прилагательных он отворачивался с презрением и, осматривая квартиры, держался высокомерно, высчитывал высоту потолков, набрасывал в записной книжке план, отмечал сообщение между комнатами и расположение выходов, причем заявлял, что он врач и много принимает на дому. Лестница должна быть широкой и содержаться в чистоте. И вообще выше второго этажа он поселиться не может.

Записав семь или восемь адресов и наведя сотню справок, он вернулся домой, опоздав к завтраку на четверть часа.

Уже в передней он услышал стук тарелок. Значит, завтракали без него. Почему? Никогда у них в доме не соблюдалась такая точность. Обидчивый по природе, он сразу почувствовал неудовольствие и досаду.

Как только он вошел, Ролан сказал ему:

— Ну, Пьер, пошевеливайся! Ты ведь знаешь, мы в два часа идем к нотариусу. Сегодня не время копаться.

Доктор, ничего не отвечая, поцеловал мать, пожал руку отцу и брату и сел за стол; потом взял с большого блюда посреди стола оставленную для него отбивную. Она оказалась остывшей, сухой и, наверно, была самая жилистая. Он подумал, что ее могли бы поставить в печку до его прихода и что не следовало терять голову до такой степени, чтобы совершенно забыть о другом сыне, о старшем. Разговор, прерванный его приходом, возобновился.

— Я бы вот что сделала на твоём месте, — говорила Жану г-жа Ролан — Прежде всего я устроилась бы богато, так, чтобы это всем бросалось в глаза, стала бы бывать в обществе, ездить верхом и выбрала бы однодва громких дела для защиты, чтобы выступить в них и завоевать положение в суде. Я сделалась бы своего рода адвокатом-любителем, за которым клиенты гонятся. Слава богу, ты теперь избавлен от нужды, и если будешь заниматься своей профессией, то, в сущности, только для того, чтобы не растерять своих знаний; мужчина, впрочем, никогда не должен сидеть без дела.

Ролан-отец, чистя грушу, заявил:

— Нет уж, извините! Я на твоём месте купил бы хорошую лодку, катер, вроде тех, что у наших лоцманов. На нем можно дойти хоть до Сенегала!

Высказал свое мнение и Пьер. В конце концов, не богатство составляет духовную ценность человека. Людей посредственных оно только заставляет опускаться, но в руках сильных людей

оно — мощный рычаг. Правда, такие люди редки. Если Жан подлинно незаурядный человек, то теперь, когда он избавлен от нужды, он может доказать это. Но работать придется в тысячу раз больше, чем при других обстоятельствах. Не в том задача, чтобы выступать за или против вдов и сирот и класть в карман столько-то экую за всякий выигранный или проигранный процесс, но в том, чтобы стать выдающимся юристом, светилом права.

Пьер добавил в виде заключения:

— Будь у меня деньги, сколько бы трупов я вскрыл!

Старик Ролан пожал плечами:

— Та-та-та! Самое мудрое, что можно сделать, — это жить в свое удовольствие. Мы не выючные животные, а люди. Когда родишься бедняком, нужно работать, и, что поделаешь, приходится работать! Но когда имеешь ренту — черта с два! Каким нужно быть дуралеем, чтобы лезть из кожи вон.

Пьер ответил свысока:

— У нас разные взгляды! Я уважаю только знание и ум и презираю все остальное.

Госпожа Ролан всегда старалась смягчить постоянные стычки между отцом и сыном, поэтому она переменяла разговор и стала рассказывать об убийстве в БольбекНуанто, происшедшем на прошлой неделе. Все тотчас же с увлечением занялись подробностями этого злодеяния, захваченные тайной преступлений; ведь как бы ни были жестоки, позорны и отвратительны преступления, они всегда возбуждают в людях любопытство и обладают непонятной, но, бесспорно, притягательной силой.

Однако старик Ролан то и дело смотрел на часы.

— Ну, — сказал он, — пора отправляться.

Пьер усмехнулся.

— Еще нет и часа. По правде говоря, незачем было заставлять меня есть холодную котлету.

— Ты пойдешь к нотариусу? — спросила г-жа Ролан.

Он сухо ответил:

— Нет. Зачем? Мое присутствие там совершенно лишнее.

Жан молчал, словно дело вовсе его не касалось. Когда говорили об убийстве в Больбеке, он, как юрист, высказал кое-какие замечания и развил некоторые соображения о преступности. Теперь он умолк, но блеск его глаз, яркий румянец щек-все, вплоть до лоснящейся бороды, казалось, кричало о его торжестве.

После ухода родных Пьер, снова оставшись в одиночестве, возобновил утренние поиски квартиры. В течение двух-трех часов он поднимался и спускался по лестницам, пока не обнаружил наконец на бульваре Франциска I очаровательное помещение: просторный бельэтаж с двумя выходами на разные улицы, с двумя гостиными, с застекленной галереей, где больные в ожидании своей очереди могли бы прогуливаться среди цветов, и с восхитительной круглой столовой, обращенной окнами к морю.

Он уже решил было нанять эту квартиру, но цена в три тысячи франков остановила его, тем более что нужно было заплатить вперед за первый квартал, а у него не было ничего и впредь не предвиделось ни единого су.

Скромное состояние, накопленное отцом, едва приносило восемь тысяч франков ренты, и Пьер упрекал себя за то, что нередко ставил родителей в стесненное положение своими колебаниями в выборе профессии, своими планами, никогда не доводимыми до конца, и постоянными переменами факультетов. И он ушел, пообещав дать ответ не позже чем через два дня: он решил, как только Жана введут в права наследства, попросить у него денег на уплату за первый квартал или даже за полугодие, что составило бы полторы тысячи франков.

«Ведь это всего на несколько месяцев, — думал он — Быть может, я возвращу долг до конца года. Это так просто, он с удовольствием даст мне займы».

Так как еще не было четырех часов, а делать ему было решительно нечего, он пошел в городской сад и долго сидел там на скамье, ни о чем не думая, устремив глаза в землю, подавленный и удрученный.

Между тем все предыдущие дни, с самого своего возвращения в отчий дом, он проводил совершенно так же, но вовсе не страдал так жестоко от пустоты своего существования и от собственного бездействия. Чем же он заполнял свой день с утра до вечера?

В часы прилива он слонялся по молу, по улицам, по кафе, сидел у Маровско, — словом, не делал ровно ничего. И вдруг эта жизнь, до сих пор несколько не тяготившая его, представилась ему отвратительной, невыносимой. Будь у него хоть немного денег, он нанял бы коляску и поехал за город покататься вдоль ферм, окруженных оградами, в тени буков и вязов; но он ведь вынужден высчитывать цену каждой кружки пива, каждой почтовой марки, и подобные прихоти ему недоступны. Он вдруг подумал о том, как тяжело в тридцать с лишком лет, краснея, просить у матери луидор на мелкие расходы, и пробормотал, царапая землю концом тросточки:

— Черт возьми, если бы только у меня были деньги!

И мысль о наследстве брата опять кольнула его, подобно осиному жалу, но он с досадой отогнал ее, не желая поддаваться чувству зависти.

Вокруг него в пыли дорожек играли дети. Белокурые, кудрявые, они с серьезным видом, важно и сосредоточенно сооружали маленькие песчаные горки, чтобы потом растоптать их ногами.

Пьер находился в том мрачном состоянии духа, когда человек заглядывает во все уголки своей души и перетряхивает все тайники ее.

«Наши труды подобны работе этих малышей», — думал он. А затем спросил себя, не в том ли высшая мудрость жизни, чтобы произвести на свет два-три таких бесполезных существа и с любопытством и радостью следить за их ростом. У него мелькнула мысль о женитьбе. Когда ты не одинок — не чувствуешь себя таким неприкаянным. По крайней мере, в часы смутения и неуверенности подле тебя будет живое существо; ведь уже много значит, если в тяжелую минуту можешь сказать женщине «ты».

И он начал думать о женщинах.

Он мало знал их: в Латинском квартале у него бывали только мимолетные связи, которые обрывались, как только кончались деньги, присланные из дому на месяц, и возобновлялись или заменялись новыми в следующем месяце. А ведь должны же существовать на свете и другие женщины — добрые, нежные, отзывчивые. Разве не была его мать душою и очарованием домашнего очага? Как он хотел бы встретить женщину, настоящую женщину!

Он вдруг встал со скамейки и решил навестить г-жу Роземильи.

Но затем так же быстро опустил на место. Нет, она ему не нравится! Почему? В ней было слишком много прозаического, будничного здравого смысла; да и притом она, конечно,

предпочитает Жана Пьер не признавался себе в этом прямо, но это обстоятельство играло немалую роль в невысоком мнении, которое он составил себе об умственных способностях вдовы, если он и любил брата, то все таки считал его посредственностью и ставил себя выше него.

Однако нельзя же было оставаться тут до ночи, и он, как накануне вечером, с тоскою спрашивал себя:

— Куда же мне деваться?

Ему хотелось внимания, нежности, чтобы его приласкали, утешили. Утешили — но в чем? Он сам не мог бы сказать этого. Он чувствовал себя разбитым и обессиленным, а в такие минуты присутствие женщины, ее ласка, прикосновение ее руки, шелест платья, нежный взгляд черных или голубых глаз необходимы нашему сердцу сейчас же, сию минуту.

Ему вспомнилась одна служаночка из пивной: как-то вечером он проводил ее и зашел к ней, а потом встретился с нею время от времени.

Он снова встал со скамьи и решил пойти выпить кружку пива с этой девушкой. Что он ей скажет? Что она скажет ему? Вероятно, ничего. Не все ли равно? На несколько мгновений он задержит ее руку в своей! Она как будто расположена к нему. Почему бы ему не видеться с нею почаще?

Он нашел ее в полупустой пивной, где она дремала на стуле. Трое посетителей курили трубки, облокотясь на дубовые столы, кассирша читала роман, а хозяин, без пиджака, крепко спал на скамейке.

Завидев Пьера, девушка быстро вскочила и подошла к нему.

— Здравствуйте, как поживаете?

— Ничего, а ты?

— Отлично. Редко вы к нам заглядываете!

— Да, я очень занят. Ты ведь знаешь, я врач.

— Да ну! Вы мне этого не говорили. Кабы я знала, то к вам бы и обратилась: я хворала на прошлой неделе. Что вы закажете?

— Кружку пива, а тебе?

— Тоже кружку пива, если ты угощаешь.

И она сразу перешла на «ты», как будто, предложив угостить ее, он дал на это молчаливое согласие. Сидя друг против друга, они разговорились. Время от времени она брала его за руку с привычной фамильярностью девицы, продающей свои ласки, и, глядя на него зазывающим взглядом, спрашивала:

— Почему не заходишь чаще? Ты мне нравишься, миленький.

Но он уже испытывал к ней отвращение, видя, что она глупа, груба и вульгарна. Женщины, говорил он себе, должны являться нам в мечтах или в ореоле роскоши, скрашивающей их пошлость.

— Ты на днях проходил мимо с красивым блондином, — сказала она, — у него такая большая борода. Это брат твой, что ли?

— Брат.

— Экий красавчик!

— Ты находишь?

— Еще бы! И сразу видно, что веселый.

Какое непонятное побуждение толкнуло его вдруг рассказать служанке из пивной о наследстве Жана? Почему эта мысль, которую он гнал от себя, когда был один, которую отталкивал из страха перед смятением, вносимым ею в душу, — почему теперь он не удержал ее, почему дал сорваться с языка, словно не мог побороть желания излить свое переполненное горечью сердце?

— Моему брату повезло, — сказал он, заложив ногу на ногу — Он только что получил наследство в двадцать тысяч франков ренты.

Ее голубые глаза широко раскрылись, и в них блеснул алчный огонек.

— Ого! Кто же ему оставил, бабушка или тетка?

— Нет, старый друг моих родителей.

— Всего только друг? Быть не может! А тебе ничего не оставил?

— Нет. Я очень мало знал его.

Она подумала немного и сказала с хитрой усмешкой:

— Ну и везет же твоему брату, что у него такие друзья! Не мудрено, что он совсем не похож на тебя!

Он ощутил безотчетное желание ударить ее по лицу, и губы его судорожно кривились, когда он спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

Она ответила самым невинным и простодушным тоном:

— а Да ничего. Я говорю, что ему счастье привалило, а тебе нет.

Он бросил на стол двадцать су и вышел.

В ушах неотступно звучали слова: «Не мудрено, что он совсем не похож на тебя».

Что она думала, что разумела под этими словами? Несомненно, в них скрывалась насмешка, какой-то злой и подлый намек. Уж не решила ли эта девка, что его брат-сын Марешаля?

Это подозрение, падавшее на его мать, так потрясло Пьера, что он остановился, ища взглядом, где бы присесть.

Прямо перед ним было кафе. Он вошел туда и сказал подошедшему гарсону:

— Кружку пива.

Сердце у него колотилось, по телу пробежала дрожь. И вдруг ему вспомнилось, что сказал накануне Маровско: «Это произведет дурное впечатление». Неужели у старика явилась та же мысль, то же подозрение, что и у этой твари?

Нагнувшись над кружкой, он смотрел, как пузырится и тает белая пена, и спрашивал себя: «Неужели кто-нибудь поверит такой нелепости?»

Причины, способные возбудить это гнусное подозрение, открывались ему одна за другой — ясные, очевидные, беспощадные. Что старый холостяк, не имеющий наследников, оставляет свое состояние обоим сыновьям своего друга — это вполне понятно и естественно, но если он

оставляет его целиком одному из сыновей, то люди, конечно, будут удивляться, шушукаться и в конце концов лукаво улыбаться. Как он сам не предвидел этого, как не почувствовал этого отец, как не догадалась об этом мать? Нет, они слишком обрадовались неожиданному богатству, чтобы это могло прийти им в голову. И разве такие честные, порядочные люди, как его родители, способны заподозрить такую гнусность «?

Да, но окружающие, соседи — булочник, бакалейщик и другие лавочники, все, кто их знал, — разве не будут повторять отвратительную сплетню, забавляться ею, злорадствовать, смеяться над отцом и с презрением говорить о матери?

Заметила же служанка пивной, что Жан блондин, а он брюнет, что они не похожи друг на друга ни лицом, ни походкой, ни осанкой, ни характером, — ведь теперь это бросится в глаза всем, поразит всех. Когда пойдет речь об одном из сыновей Роланов, теперь будут спрашивать:» Это который же, настоящий или побочный?»

Он поднялся, решив предупредить брата, предостеречь его от страшной опасности, угрожающей чести их матери. Но что может сделать Жан? Самое простое было бы, конечно, отказаться от наследства, пусть оно пойдет на бедных, друзьям же и знакомым, успевшим узнать о завещании, сказать, что его статьи и условия неприемлемы, что они сделали бы Жана не наследником, а только хранителем чужого состояния.

По дороге домой он решил, что с братом ему следует повидаться наедине, чтобы не заводить такой разговор при родителях.

Еще на пороге до него донесся шум голосов и смех из гостиной, а войдя туда, он увидел г-жу Роземильи и капитана Босира, которых отец привел с собой и оставил обедать, чтобы отпраздновать радостную новость.

Для возбуждения аппетита были поданы вермут и абсент, и все пришли в хорошее настроение. Капитан Босир был маленький человечек, который столько катался по морям, что стал совсем круглым, и казалось, что у него даже мысли круглые, как прибрежная галька; он смеялся так, что в его горле рокотали одни звуки» р «, и был убежден, что жизнь чудесна и ничем в ней не нужно пренебрегать.

Он чокался со стариком Роланом, а Жан подносил дамам по второй рюмке.

Госпожа Роземильи отказывалась, но капитан Босир, знавший ее покойного мужа, воскликнул:

— Смелее, смелее, сударыня, как говорится» *bis repetita placent* «, а это значит:» Два вермута никогда не повредят «. С тех пор как я больше не хожу в море, я каждый день перед обедом сам устраиваю себе небольшую качку. После кофе добавляю еще немного килевой, и к вечеру у меня волнение на море. Правда, до шторма я никогда не довожу, никогда, — боюсь крушения.

Ролан, поощряемый старым капитаном в своей страсти к мореплаванию, покатывался со смеху; от абсента лицо его покраснелось, глаза помутнели. У него было толстое брюхо лавочника, как будто вместившее в себя все остальные части тела, дряблое брюхо, какое бывает у людей сидячего образа жизни; не оставалось уже ни бедер, ни груди, ни рук, ни шеи, словно на сиденье с гула нагромоздилась вся его туша.

Босир, напротив, несмотря на малый рост и толщину, был весь налитой и упругий, как мяч.

Госпожа Ролан только пригубила первую рюмку и, вся порозовев, блестящими от счастья глазами любовалась младшим сыном.

Теперь и он дал полную волю своей радости. Все было кончено и подписано, он уже владел рентой в двадцать тысяч франков. В его смехе, в самом голосе, ставшем более звучным, во

взгляде на собеседницу, в его движениях, более свободных и отчетливых, уже чувствовалась самоуверенность, которую придают деньги.

Когда доложили, что обед подан и старик Ролан собрался было предложить руку г-же Роземильи, его супруга воскликнула:

— Нет, нет, отец, сегодня все для Жана.

Стол был накрыт с непривычной роскошью; перед тарелкой Жана, сидевшего на отцовском месте, возвышался огромный букет, весь в ленточках, настоящий парадный букет, напоминавший увешанный флагами купол здания. Вокруг него стояли четыре вазы: одна с пирамидой великолепных персиков, вторая с монументальным тортом, начиненным взбитыми сливками и украшенным колокольчиками из жженого сахара, — целый собор из теста; третья с ломтиками ананаса в светлом сиропе, а четвертая — неслыханная роскошь! — с черным виноградом, привезенным из жарких стран.

— Черт возьми! — сказал Пьер, усаживаясь. Мы празднуем восшествие на престол Жана Богатого.

После супа выпили мадеры, и тут уж все заговорили разом. Босир рассказывал, как ему случилось обедать у одного негритянского генерала в Сен-Доминго. Роланотец слушал его, все время стараясь вставить собственный рассказ о другом обеде, который дал один из его друзей в Медоне, после чего приглашенные хворали две недели. Г-жа Роземильи, Жан и его мать, заранее предвкушая удовольствие, говорили о прогулке в Сен-Жуэн, где можно будет и позавтракать. Пьер жалел, что не пообедал в каком-нибудь кабачке на берегу моря, где был бы избавлен от этого шума, смеха и веселья, которые его раздражали.

Он обдумывал, как ему приступить к делу, как высказать брату свои опасения и заставить его отказаться от богатства, которое уже принадлежало ему, которым он упивался. Конечно, Жану будет нелегко, но так надо: какие могут быть колебания, если затронуту доброе имя матери.

Появление на столе огромного морского окуня дало Ролану повод пуститься в рассказы о рыбной ловле. Босир, со своей стороны, поведал о необыкновенных уловах в Габуне, в Сент-Мари на Мадагаскаре и в особенности у берегов Китая и Японии, где у рыб такая же забавная внешность, как и у тамошних жителей. И он стал описывать этих рыб, их большие золотистые глаза, голубое или красное брюшко, причудливые плавники, похожие на веера, хвосты, вырезанные в форме полумесяца, — и все это с такими уморительными ужимками, что, слушая его, все смеялись до слез.

Один Пьер, казалось, недоверчиво относился к этим рассказам и бурчал себе под нос:

— Верно говорят, что нормандцы — те же гасконцы, только северные.

После рыбы подали слоеный пирог, затем жареных цыплят, салат, зеленые бобы и питивьерский паштет из жаворонков. За столом прислуживала горничная г-жи Роземильи. Веселье возрастало с каждым стаканом вина. Когда хлопнула пробка первой бутылки шампанского, Ролан отец, очень возбужденный, причмокнул, подражая этому звуку, и объявил:

— Такой выстрел я предпочитаю пистолетному.

Пьер, все больше и больше раздражаясь, ответил насмешливо:

— А между тем для тебя такой выстрел куда опаснее пистолетного.

Ролан, уже собиравшийся выпить, поставил на стол полный бокал.

— Почему это?

Он уже давно жаловался на свое здоровье, на ощущение тяжести, на головокружение, на постоянное и необъяснимое недомогание.

Доктор продолжал:

— Потому что пуля может пролететь мимо, а бокал вина неизбежно попадет к тебе в желудок.

— Ну и что же?

— А то, что вино обжигает желудок, расстраивает нервную систему, затрудняет кровообращение и подготавливает апоплексический удар, которому подвержены люди твоей комплекции.

Опьянение бывшего ювелира вдруг рассеялось, как дым от порыва ветра, и он уставился на сына тревожным и пристальным взглядом, стараясь понять, не шутка ли это.

Но Босир воскликнул:

— Ах, уж эти доктора, вечно одно и то же: не ешьте, не пейте, не любите, хороводов не водите. Это, извольте видеть, вредит драгоценному здоровью. А я проделывал все это, сударь, собственной персоной, во всех частях земного шара, всюду, где только мог и сколько мог, и ничуть мне это не повредило.

Пьер едко заметил:

— Во первых, капитан, вы крепче моего отца, а, кроме того, все любители пожить говорят то же, что и вы, до того самого дня, когда... словом, когда они уже не могут наутро сказать осторожному врачу: «Вы были правы, доктор» Отец делает то, что всего опаснее и вреднее для него. Вполне естественно, что, видя это, я его предупреждаю. Я был бы плохим сыном, если бы поступал иначе.

Огорченная г-жа Ролан тоже вступилась за старика:

— Пьер, что с тобой? От одного раза ничего не случится. Подумай, какой сегодня праздник для него, для всей семьи. Ты портишь ему удовольствие и огорчаешь нас. Это просто нехорошо!

Он пробормотал, пожимая плечами:

— Пусть делает, что хочет. Я его предупредил.

Но Ролан-отец не стал пить. Он смотрел на свой бокал, полный светлого, искристого вина, легкая, пьянящая душа которого улетала мелкими пузырьками, возникавшими на дне и быстро, торопливо мчавшимися вперед, чтобы испариться на поверхности; он смотрел на свой бокал с опаской, как лиса, которая нашла издохшую курицу и чует западню.

Он спросил неуверенно:

— Так ты думаешь, это мне очень вредно?

Пьеру стало стыдно, и он упрекнул себя, что из-за своего плохого настроения заставляет страдать других.

— Ну, так и быть, один раз можно; только не злоупотребляй вином и не привыкай к нему.

Ролан отец поднял бокал, но все еще не решался поднести его к губам. Он грустно смотрел на него, с желанием и страхом; потом понюхал вино, пригубил и стал пить маленькими глотками, чтобы продлить наслаждение; в душе его боролись и боязнь, и слабость, и вождление, и, наконец, раскаяние, едва он допил последнюю каплю.

Пьер встретился вдруг глазами с г-жою Роземильи; ее ясный, пронизательный и жесткий взгляд был устремлен на него. Пьер почувствовал, отгадал, понял мысль, оживлявшую этот взгляд,

гневную мысль женщины, прямой, доброй и бесхитростной; взгляд ее говорил: «Ты завидуешь Не стыдно тебе?»

Он опустил голову и снова принялся за еду.

Но ел он без охоты, и все казалось ему невкусным. Его томило желание уйти, покинуть этих людей, не слышать больше их разговоров, шуток и смеха.

Тем временем винные пары опять начали туманить мысли Ролана отца. Он уже позабыл советы своего сына и искоса бросал нежные взгляды на только что начатую бутылку шампанского, стоявшую рядом с его прибором. Не решаясь притронуться к ней из боязни нового выговора, он старался придумать какую-нибудь уловку, хитрый прием, с помощью которого мог бы завладеть ею, не вызвав замечаний Пьера. Он остановился на самом простом способе: небрежно взяв в руки бутылку и держа ее за донышко, он потянулся через стол, наполнил сначала пустой бокал доктора, затем налил по кругу всем остальным, а дойдя до своего бокала, заговорил как можно громче и под шумок налил немного и себе; можно было поклясться, что он сделал это по рассеянности. Впрочем, никто и не обратил на это внимания.

Пьер, сам того не замечая, много пил. Злой и раздраженный, он то и дело машинально подносил ко рту узкий хрустальный бокал, где в живой прозрачной влаге взбегали пузырьки, и пил медленно, чтобы почувствовать на языке легкий и сладостный укол испаряющегося газа.

Приятная теплота понемногу растекалась по всем жилам. Исходя из желудка, где, казалось, был ее очаг, она достигла груди, охватила руки и ноги и разлилась по телу легкой, благотворной волной, радостью, согревающей душу. Ему стало легче, досада и недовольство улеглись; его решение переговорить сегодня же вечером с братом несколько поколебалось, — не потому, чтобы он хоть на миг подумал отказаться от этого, но ему хотелось продлить подольше охватившую его приятную истому.

Босир встал и поднял бокал для тоста. Поклонившись всем по очереди, он начал:

— Прекрасные дамы и милостивые государи, мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать счастливое событие, выпавшее на долю одного из наших друзей. В старину говорили, что фортуна слепа; я же думаю, что она просто близорука или коварна. Но вот теперь она купила себе отличный морской бинокль, и это позволило ей различить в Гаврском порту сына нашего достойного приятеля Ролана, капитана «Жемчужины».

Все закричали «браво», все захлопали оратору, и старик Ролан поднялся для ответного тоста.

Откашлявшись, потому что у него заложило горло и язык ворочался с трудом, он произнес, запинаясь:

— Благодарю вас, капитан, благодарю за себя и за сына. Я никогда не забуду вашего дружеского участия к нам. Пью за исполнение ваших желаний.

Глаза его увлажнились, в носу защипало, и он сел, не находя больше, что сказать.

Жан, засмеявшись, тоже взял слово.

— Это я, — произнес он, — должен благодарить преданных друзей, прекрасных друзей (он взглянул на г-жу Роземильи), которые сегодня столь трогательно проявляют свое расположение. Но не словами могу я выразить им свою признательность. Я буду доказывать ее постоянно, и завтра, и каждое мгновение моей жизни, ибо наша дружба непреходяща.

Мать взволнованно прошептала:

— Очень хорошо, Жан.

Босир возгласил, обращаясь к г-же Роземильи.

— А теперь, сударыня, скажите и вы что-нибудь от имени прекрасного пола.

Она подняла бокал и нежным голоском, с легким оттенком печали, произнесла:

— Я пью за благословенную память господина Марешаля.

Наступило подобающее случаю сосредоточенное молчание, как после молитвы, и Босир, скорый на комплименты, заметил:

— Только женщины способны на такую чуткость.

Затем, повернувшись к Ролану отцу, он спросил:

— Кто же он был такой, этот Марешаль? Вы, стало быть, очень дружили с ним?

Старик, разомлевший от вина, заплакал; язык у него заплетался:

— Как брат родной... понимаете... такого больше не сыщешь... мы были неразлучны... каждый вечер он обедал у нас... возил нас в театр... и все такое... и вообще... Это был друг, истинный друг... истинный... правда, Луиза?

Его жена ответила просто:

— Да, это был верный друг.

Пьер поглядел на отца, на мать, но тут заговорили о другом, и он снова принялся за вино.

Как закончился вечер, он уже не помнил. Пили кофе, потягивали ликеры, смеялись и шутили без конца. Около полуночи он лег в постель с затуманенным сознанием и тяжелой головой и спал как убитый до девяти часов утра.

IV

Сон после шампанского и шартреза, очевидно, успокоил и умиротворил его, потому что проснулся он в самом благодушном настроении. Одеваясь, он разбирал, взвешивал и подытоживал чувства, волновавшие его накануне, стараясь возможно более четко и полно установить их подлинные, сокровенные причины, и внутренние и внешние.

Конечно, у служанки пивной могла явиться гадкая мысль, мысль истой проститутки, когда она узнала, что только один из сыновей Ролана получил наследство от постороннего человека; но разве эти твари не склонны всегда без всякого повода подозревать всех честных женщин? Разве они не оскорбляют, не поносят, не обливают грязью на каждом шагу именно тех женщин, которых считают безупречными? Стоит в их присутствии назвать какую-нибудь женщину неприступной, как они приходят в ярость, словно им нанесли личное оскорбление. «Как же, — кричат они, — знаем мы твоих замужних женщин! Нечего сказать, хороши! У них побольше любовников, чем у нас, только они это скрывают, лицемерки! Да, да, нечего сказать, хороши?»

При других обстоятельствах он, наверное, не понял бы, даже счел бы немислимым подобный намек на свою мать, такую добрую, такую благородную. Но теперь в нем все сильнее и сильнее бродила зависть к брату. Смятенный ум, даже помимо его воли, словно подстерегал все то, что могло повредить Жану; вдруг он сам приписал той девушке гнусные намеки, а ей ничего и в голову не приходило?

Быть может, его воображение, которое не подчинялось ему, беспрестанно ускользало из-под его воли и, необузданное, дерзкое, коварное, устремлялось в свободный, бескрайный океан мыслей и порой приносило оттуда мысли позорные, постыдные и прятало в тайниках его души, в ее самых сокровенных глубинах, как прячут краденое, — быть может, только его воображение и создало, выдумало это страшное подозрение. В его сердце, в его собственном сердце, несомненно, были от него тайны; быть может, это раненое сердце нашло в гнусном подозрении способ лишить брата того наследства, которому он завидовал? Теперь он подозревал самого себя и проверял свои потаеннейшие думы, как проверяют свою совесть благочестивые люди.

Госпожа Роземильи, при всей ограниченности ума, бесспорно, обладала женским тактом, чутьем и пронизательностью. И все же эта мысль, видимо, не приходила ей в голову, если она так искренне и просто выпила за благословенную память покойного Марешаля. Ведь не поступила бы она так, явись у нее хоть малейшее подозрение. Теперь он уже не сомневался, что невольная обида, вызванная доставшимся брату богатством, и, конечно, благоговейная любовь к матери возбудили в нем сомнения — сомнения, достойные похвалы, но беспочвенные.

Придя к такому выводу, он почувствовал удовлетворение, словно сделал доброе дело, и решил быть приветливым со всеми, начиная с отца, хотя тот беспрестанно раздражал его своими причудами, нелепыми изречениями, пошлыми взглядами и слишком явной глупостью.

Пьер пришел к завтраку без опоздания, в наилучшем расположении духа и за столом развлекал всю семью своими шутками.

Мать говорила, сияя радостной улыбкой.

— Ты и не подозреваешь, сынок, до чего ты забавен и остроумен, стоит тебе захотеть.

А он все острил и каламбурил, набрасывая шутливые портреты друзей и знакомых. Досталось и Босиру и даже г-же Роземильи, но только чуточку, без злости. И Пьер думал, глядя на брата: «Да вступишь же за нее, олух этакий; хоть ты и богат, но я всегда сумею затмить тебя, если захочу».

За кофе он спросил отца:

— Тебе не нужна сегодня «Жемчужина»?

— Нет, сынок.

— Можно мне взять ее и Жан-Барта захватить с собой?

— Пожалуйста, сделай одолжение.

Пьер купил в табачной лавочке дорогую сигару и бодрым шагом направился в порт, поглядывая на ясное, сияющее небо, бледно-голубое, освеженное и точно вымытое морским ветром.

Матрос Папагри, по прозвищу Жан-Барт, дремал на дне лодки, которую он должен был ежедневно держать наготове к полудню, если только не выезжали на рыбную ловлю с утра.

— Едем вдвоем, капитан, — крикнул Пьер.

Он спустился по железной лесенке и прыгнул в лодку.

— Какой нынче ветер — спросил он.

— Пока восточный, сударь. В открытом море будет добрый бриз.

— Ну, так в путь, папаша.

Они поставили фок-мачту, подняли якорь, и лодка, получив свободу, медленно заскользила к молу по спокойной воде гавани. Слабое дуновение, доносившееся с улиц, тихонько, почти неощутимо шевелило верхушку паруса, и «Жемчужина» словно жила своей собственной жизнью, жизнью парусника, движимого некоей таинственной, скрытой в нем силой. Пьер сидел за рулем, с сигарой в зубах, положив вытянутые ноги на скамью и полузакрыв глаза от слепящих лучей солнца, и смотрел, как мимо него проплывают толстые просмоленные бревна волнореза.

Достигнув северной оконечности мола, они вышли в открытое море. Свежий ветер ласковой прохладой скользнул по лицу и рукам Пьера, проник ему в грудь, глубоко вдохнувшую эту ласку, надул коричневый парус, наполнил его, и «Жемчужина», накренившись, ускорила ход.

Жан-Барт поставил кливер, треугольник которого под ветром казался крылом, потом в два прыжка очутился на корме и отвязал гик, прикрепленный к мачте.

Вдоль борта лодки, которая еще сильнее накренилась и шла теперь на полной скорости, послышался негромкий веселый рокот бурлящей и убегающей воды.

Нос лодки взрезал море, точно стремительный лемех, и волна, упругая, белая от пены, вздымалась и падала, словно отваленная плугом тяжелая свежевспаханная земля.

При каждой встречной волне — они были короткие и частые — толчок сотрясал «Жемчужину» от кливера до руля, вздрагивающего в руке Пьера; когда же ветер усиливался на мгновение, волны доходили до самого борта лодки, и казалось, вот-вот зальют ее.

Ливерпульский угольщик стоял на якоре, ожидая прилива. Они обогнули его сзади, осмотрели одно за другим все суда, стоявшие на рейде, и отошли немного подальше, чтобы полюбоваться побережьем.

Целых три часа Пьер, безмятежный, спокойный и всем довольный, блуждал по чуть зыблемой воде, управляя, точно крылатым, быстрым и послушным зверем, этим сооружением из дерева и холста, ход которого он менял по своей прихоти, одним мановением руки.

Он мечтал, как мечтают во время прогулки верхом или на палубе корабля; он думал о будущем, о своем прекрасном будущем, о том, как хорошо и разумно он устроит свою жизнь. Завтра же он попросит брата одолжить ему на три месяца полторы тысячи франков и немедленно обоснуется в хорошенькой квартирке на бульваре Франциска I.

Вдруг Жан-Барт сказал:

— Туман подымается, сударь; пора домой.

Пьер поднял глаза и увидел на севере серую тень, плотную и легкую; она заволакивала небо, накрывала море и неслась прямо на них, словно падающее облако.

Он переменял курс, и лодка пошла к молу, подгоняемая ветром и преследуемая туманом, быстро ее настигавшим. Вот он догнал «Жемчужину», окутал ее бесцветной густой пеленой, и холодная дрожь пробежала по телу Пьера, а запах дыма и плесени, особым запахом морского тумана, заставил его крепко сжать губы, чтобы не наглотаться влажных и холодных испарений. Когда лодка причалила к своему обычному месту, весь город уже словно затянуло изморосью, которая, не падая, пронизывала насквозь и струилась по домам и улицам наподобие бегущей реки.

У Пьера озябли ноги и руки; он быстро вернулся домой и бросился на кровать, чтобы вздремнуть до обеда.

Когда он вошел в столовую, мать говорила Жану:

— Галерея получится очаровательная Мы поставим туда цветы, непременно Ты увидишь Я берусь ухаживать за ними и время от времени менять их Когда у тебя соберутся гости — при вечернем освещении это будет просто волшебное зрелище.

— О чем это вы говорите — спросил Пьер.

— Я только что сняла для нашего Жана очаровательную квартиру. Прямо находка: в бельэтаже, выходит на две улицы. Там две гостиные, застекленная галерея и маленькая круглая столовая. Для холостяка просто восхитительно.

Пьер побледнел. Сердце сжалось от обиды и гнева.

— Где эта квартира? — спросил он.

— На бульваре Франциска Первого.

Значит, никаких сомнений. Он сел за стол в таком исступлении, что едва удержался, чтобы не крикнуть: «Это уж слишком, наконец! Неужели все только для одного Жана?»

Мать между тем продолжала рассказывать, вся сияя от радости.

— И, представь, мне уступили ее за две тысячи восьмьсот франков. Запросили три тысячи, но я отторговала двести франков с условием, что заключу договор на три года, на шесть или на девять лет. Это как раз то, что нужно Жану. Адвокату, чтобы сделать карьеру, достаточно эlegantной квартиры: это привлекает клиента, прельщает его, удерживает, внушает уважение и дает понять, что человек, который живет с таким комфортом, должен дорого ценить каждое свое слово.

Помолчав немного, она сказала:

— Надо подыскать что-нибудь в том же роде и для тебя, Пьер. Поскромнее, конечно, ведь у тебя нет средств, но все же что-нибудь миленькое. Вот увидишь, это тебе очень поможет.

Пьер ответил пренебрежительно:

— Я-то добьюсь положения трудом и знаниями.

Но мать настаивала:

— Верно, а все-таки хорошенькая квартирка тебе очень и очень поможет.

Когда подали второе блюдо, Пьер вдруг спросил:

— Как вы познакомились с этим Маршалем?

Ролан-отец поднял голову и принялся рыться в своей памяти:

— Постой, я что-то не припомню. Это было так давно. Ага, вспомнил. Твоя мать познакомилась с ним в нашей лавке. Правда, Луиза? Он пришел заказать какую-то вещицу, а затем начал заходить довольно часто. Сперва был просто покупателем, а потом стал нашим другом.

Пьер, насаживая бобы на вилку, словно на вертел, продолжал расспрашивать:

— Когда же именно завязалось это знакомство?

Ролан задумался, пытаясь припомнить, но все его усилия ни к чему не привели, и он обратился за помощью к жене:

— Слушай, Луиза, в каком же году это было? Ты, наверно, помнишь, у тебя такая хорошая память. Постой, кажется... в пятьдесят пятом или пятьдесят шестом. Да вспомни же, ты должна знать это лучше меня!

Она немного подумала, потом уверенно и спокойно проговорила:

— Это было в пятьдесят восьмом, голубчик. Пьеру исполнилось тогда три года. Я отлично это помню, потому что в этот самый год у мальчика была скарлатина, и Маршалль, хотя мы еще мало его знали, был нам большой поддержкой.

Ролан воскликнул:

— Верно, верно, это было прямо удивительно! Твоя мать падала от усталости, я не мог бросить лавку, и он бегал в аптеку за лекарствами для тебя. Такой отзывчивый был человек! А когда ты поправился, как он радовался, как целовал тебя. С тех пор мы и стали закадычными друзьями.

Словно смертоносный свинец, который ранит и разрывает тело, в душу Пьера стремительно ворвалась жестокая мысль: «Если он знал меня раньше, чем брата, если так самоотверженно заботился обо мне, нежно любил, целовал, если из-за меня он так подружился с моими родителями, то почему же он оставил все состояние брату, а мне ничего?»

Пьер не задавал больше вопросов; он сидел за столом мрачный и скорее сосредоточенный, чем задумчивый, тая в себе новую, еще смутную тревогу, скрытые зачатки нового недуга.

Он вышел из дому раньше обычного и опять стал бродить по улицам. Они были окутаны туманом, и от этого ночь казалась гнетущей, непроницаемой, отвратительной. На землю точно спустился какой-то тлетворный дым. Он плыл под газовыми фонарями и порою как будто гасил их. Мостовые стали скользкими, как во время гололедицы; всевозможные зловония, словно выползавшие из утробы домов, смрад подвалов, помойных ям, сточных канав, кухонь бедного люда смешивались с удушливым запахом этого блуждающего тумана.

Пьер шел, сгорбившись, засунув руки в карманы; не желая оставаться на улице в такой холод, он направился к Маровско.

Старый аптекарь спал, как и в прошлый раз, и газовый рожок бодрствовал за него. Увидев Пьера, которого он любил любовью преданной собаки, старик стряхнул дремоту, отправился за рюмками и принес «смородиновку».

— Ну, — спросил доктор, — как же обстоит дело с вашей наливкой?

Поляк ответил, что четыре самых больших кафе города согласны торговать ею и что газеты «Береговой маяк» и «Гаврский семафор» устроят ей рекламу в обмен на кое-какие аптекарские товары, которыми он будет снабжать работников редакций.

После долгого молчания Маровско спросил, вступил ли Жан уже во владение наследством, и задал по этому поводу еще два-три неопределенных вопроса. В своей ревливой преданности Пьеру он возмущался тем, что доктору предпочли другого. И Пьеру казалось, что он слышит мысли Маровско, угадывает, понимает, читает в его уклончивых взглядах, в неуверенном тоне голоса те слова, что вертелись у аптекаря на языке, хотя он их не произнес, да и не произнесет, — для этого он слишком осторожен, боязлив и скрытен.

Пьер уже не сомневался в том, что старик думает: «Вы не должны были допускать, чтобы брат принял наследство; ведь это даст повод дурно отзываться о вашей матери». Может быть,

Маровско предполагает даже, что Жан — сын Марешаля? Разумеется, предполагает! Да и как же иначе? Это должно казаться ему вполне правдоподобным, вероятным, очевидным! Разве сам он, Пьер, ее сын, — разве он не борется вот уже три дня изо всех сил, всеми ухищрениями своего сердца, пытаясь обмануть собственный рассудок, разве он не борется против этого ужасного подозрения?

И снова потребность побыть одному, чтобы разобраться в своих мыслях, чтобы без колебаний, без слабости, решительно взглянуть в лицо этой возможной и чудовищной правде, так властно овладела им, что он поднялся, даже не выпив «смородиновки», пожал руку озадаченному аптекарю и опять вышел в туманную мглу улицы.

«Почему этот Марешаль оставил все свое состояние Жану? — спрашивал он себя.

Теперь уже не обида, не зависть заставляла его доискиваться ответа, та, не слишком благородная, но естественная зависть, которая грызла его все эти три дня и которую он пытался побороть в себе; нет, это был страх перед ужасающей мыслью, страх перед необходимостью самому поверить в то, что Жан, что его брат — сын этого человека!

Нет, он не мог этому поверить, не мог даже задать себе такой кошмарный вопрос! Но ему нужно было бесповоротно, раз и навсегда отделаться от этого подозрения, еще такого смутного, ни на чем не основанного. Ему нужна была ясность, достоверность, чтобы в сердце его не осталось места для сомнений; ведь во всем мире он только свою мать и любил.

Блуждая один по темным улицам, он произведет самое тщательное расследование, проверит свои воспоминания, призовет на помощь весь свой разум, и тогда истина откроется ему. И с этим будет покончено, он больше не станет думать об этом никогда. И пойдет спать.

Рассуждал он так:» Хорошо, прежде всего обратимся к фактам; затем я вспомню все, что мне известно о нем, об его обращении с братом и со мной; я переберу все причины, которые могли вызвать такое предпочтение с его стороны... Жан при нем родился? Да, но меня он тогда уже знал. Если бы он любил мою мать молчаливой и бескорыстной любовью, то он предпочел бы меня; ведь именно из-за моей болезни он и стал близким другом семьи. Итак, логически рассуждая, он должен был бы выбрать меня и любить меня больше, если только он не чувствовал почему-либо безотчетной привязанности к младшему брату, который рос на его глазах «.

Отчаянно напрягая свою мысль, всю силу ума, он попытался восстановить в памяти, представить себе, понять, разгадать этого человека, с которым он встречался в течение всей своей парижской жизни, не испытывая к нему никаких чувств.

Но вскоре Пьер убедился, что ему трудно думать на ходу, что даже легкий шум его шагов мешает ему сосредоточиться, путает мысли, затуманивает память.

Чтобы проникнуть в прошлое и в неизвестные ему события зорким взглядом, от которого ничего не должно укрыться, ему нужен был полный покой, простор и безлюдие. И он решил пойти посидеть на молу, как в тот вечер, когда он встретился там с Жаном.

Приближаясь к порту, он услышал с моря горестный и протяжный стон, похожий на мычание быка, но более громкий, зловещий. Это был вопль сирены, вопль кораблей, заблудившихся в тумане.

Дрожь пробежала у него по телу, сердце замерло, так сильно отдался в его душе, в его нервах этот крик о помощи, как будто вырвавшийся у него самого. Где-то немного дальше застонал другой такой же голос, а совсем близко портовая сирена испустила в ответ душераздирающий вой.

Пьер, широко шагая, дошел до мола, не думая больше ни о чем, радуясь тому, что его поглотила угрюмая ревущая тьма.

Усевшись на конце мола, он закрыл глаза, чтобы не видеть ни затянутых мглой электрических фонарей, ночью открывающих доступ в порт, ни красных огней маяка на южном молу, едва, впрочем, различимых.

Потом, повернувшись вполоборота, он облокотился на гранит и спрятал лицо в ладони.

Мысль его повторяла имя, которого не произносили уста:» Марешаль! Марешаль! — как бы призывая, воскрешая, заклиная тень этого человека. И вдруг на черном фоне, за опущенными веками Пьер увидел Марешаля, каким он знал его. Это был человек лет шестидесяти, среднего роста, с седой остроконечной бородкой, с густыми седыми бровями. У него были добрые серые глаза и скромные манеры. Он производил впечатление славного, простого, ласкового в обращении человека. Он называл Пьера и Жана «милые дети», никогда, казалось, не отдавал ни одному из них предпочтения перед другим и часто приглашал их обоих к обеду.

С упорством охотничьей собаки, которая идет по выдыхающемуся следу, Пьер восстанавливал в памяти слова, жесты, звук голоса, самый взгляд этого человека, исчезнувшего с лица земли. Мало-помалу он полностью воссоздал облик Марешаля, каким он видел его в квартире на улице Тронше, где старый друг семьи принимал у себя обоих братьев.

В доме были две служанки, обе уже старые, и они, должно быть, издавна привыкли говорить «господин Пьер» и «господин Жан».

Марешаль протягивал руки входившим молодым людям — Пьеру правую, Жану левую, или наоборот, как случится.

— Здравствуйте, детки, — говорил он — Как поживают ваши родители? Мне ведь они никогда не пишут.

Беседа велась неторопливо, запросто, о самых обыкновенных вещах. Марешаль, не отличаясь выдающимся умом, был человек большого обаяния, воспитанный, приятный в обращении. Несомненно, он был для них добрым другом, одним из тех добрых друзей, о которых и не задумываются, до того в них уверены.

Теперь воспоминания толпой нахлынули на Пьера. Заметив однажды, что он чем-то озабочен, и догадываясь о его студенческом безденежье, Марешаль по собственному почину предложил и дал ему займы несколько сот франков, которые так никогда и не были возвращены и о которых оба они позабыли. Значит, человек этот всегда любил его, всегда интересовался им, если входил в его нужды. Но в таком случае... почему же он оставил все состояние Жану? Нет, внешне он никогда не проявлял к младшему большего расположения, чем к старшему, никогда не заботился об одном больше, чем о другом, не обращался ласковее с одним, чем с другим. Но тогда — тогда... значит, у него была какая-то тайная и очень веская причина отдать все, решительно все Жану и ничего не оставить Пьеру?

Чем дольше он размышлял, чем ярче оживало перед ним недавнее, прошлое, тем необъяснимее, невероятнее казалось ему это различие, установленное между ними.

От жгучей боли, от невыразимой тоски, сдавившей ему грудь, сердце трепетало, словно тряпка на ветру. Казалось, все пружины сердца лопнули и кровь, сотрясая его, струилась неудержимым, бурным потоком.

И он повторял вполголоса, точно в бреду: «Я должен узнать. Боже мой, я должен, должен узнать».

Теперь он уходил мыслью еще дальше в прошлое, к более давним временам, когда его родители еще жили в Париже. Но лица ускользали от него, и это вносило путаницу в его воспоминания. Особенно настойчиво старался он представить себе, какие были волосы у Марешала — светлые, каштановые или черные? Но это ему не удавалось, потому что последний его облик, облик старика, заслонял все предыдущие. Все же он припомнил, что Марешаль был тогда стройнее, что руки у него были нежные и что он часто, очень часто приносил цветы, — ведь отец постоянно твердил: «Опять букет! Это безумие, дорогой мой, вы разоритесь на розах».

А Марешаль отвечал: «Пустяки, мне это доставляет удовольствие».

И вдруг голос, голос матери, говорившей с улыбкой: «Спасибо, друг мой», — так явственно зазвучал в его ушах, что ему почудилось, будто он слышит его сейчас. Значит, много раз произносила она эти три слова, если они так врезались в память сына!

Итак, Марешаль, господин Марешаль, богатый покупатель, подносил цветы лавочнице, жене скромного ювелира. Любил ли он ее? Но как бы он мог подружиться с этими мещанами, если бы не любил хозяйку дома? Это был человек образованный, довольно развитого ума. Сколько раз он беседовал с Пьером о поэтах и поэзии! Он оценивал писателей не как художник, но как впечатлительный буржуа. Пьер в душе посмеивался над его восторгами, находя их несколько наивными. Теперь он понял, что этот любитель сентиментальных стихов никогда, никогда не мог стать другом его отца, такого заурядного, такого будничного, для которого слова «поэзия» означало «глупость».

Итак, этот Марешаль, молодой, свободный, богатый, сердце которого жаждало любви, зашел однажды случайно в лавку ювелира, быть может, потому, что заметил миловидную хозяйку. Он что-то купил, через день-другой пришел опять, разговорился, потом стал частым посетителем, все ближе сходясь с хозяевами и оплачивая дорогими покупками право бывать у них в доме, улыбаться молодой хозяйке и пожимать руку мужа.

Ну, а лотом... потом... боже мой... что же потом?

Он любил и ласкал первого ребенка, сына ювелира, до рождения второго, потом он хранил свою тайну до самой смерти; когда же могила закрылась, когда его плоть обратилась в тлен, а имя было вычеркнуто из списка живых, когда все его существо исчезло навсегда и уже нечего было опасаться, нечего щадить и скрывать, он отдал все свое состояние второму ребенку!.. Почему?.. Ведь он был неглуп, должен же был понять и предвидеть, что почти неизбежно подаст этим повод считать его отцом ребенка. Итак, он решился обесчестить имя женщины? Зачем бы он это сделал, не будь Жан его сыном?

И вдруг отчетливое, ужасное воспоминание потрясло душу Пьера: у Марешала были светлые волосы, такие же, как у Жана. Пьер вспомнил портрет-миниатюру, стоявшую на камине в их парижской гостиной; теперь портрет исчез. Где он? Утерян или спрятан? Если бы взять его в руки только на одно мгновение! Быть может, мать убрала его в потайной ящик, где хранят реликвии любви?..

При этой мысли им овладело такое отчаяние, что он невольно вскрикнул, застонал, как стонут, испытывая невыносимую боль. И внезапно, словно услышав этот стон, словно поняв его муки и отвечая ему, где-то совсем близко завывала сирена. Нечеловеческий рев, громоподобный, дикий и грозный, чье назначение покрывать голоса ветра и волн, разнесся во тьме над невидимым морем, погребенным под туманом.

И сквозь густую мглу снова раздались в ночи близкие и дальние ответные вопли. Страшно было слушать эти призывы о помощи, посылаемые огромными слепыми пароходами.

Потом все смолкло.

Пьер, очнувшись от своего кошмара, открыл глаза и осмотрелся, удивляясь, что он здесь.

«Я сошел с ума, — подумал он, — я подозреваю родную мать». Волна любви и нежности, горя, раскаяния, мольбы о прощении затопила его сердце. Мать! Мог ли он ее заподозрить в чем-нибудь? Разве душа, разве жизнь этой простой, целомудренной и честной женщины не были прозрачны, как вода? Видя ее, зная ее, можно ли было усомниться в ее непогрешимости? А он, он, ее сын, усомнился в ней! Ах, если бы он мог в эту минуту заключить ее в объятия, — как бы он целовал, ласкал ее, он на коленях просил бы у нее прощения!

Чтобы она изменила его отцу, она?.. Его отец!.. Конечно, он человек порядочный, достойный уважения и честный в делах, но его умственный кругозор всегда был ограничен стенами магазина. Как же эта женщина, некогда очень красивая, — Пьер это знал и это было видно еще и сейчас, — одаренная нежной, привязчивой, чуткой душой, выбрала в женихи, а потом в мужа человека, столь несхожего с ней?

Но к чему доискиваться? Она вышла за него, как любая девушка выходит за молодого человека со средствами, выбранного ей родителями. Новобрачные тотчас же обосновались в своем магазине на улице Монмартр, и молодая женщина, воцарившись за прилавком, увлеченная созиданием домашнего очага, отдавая дань, быть может, неосознанному, но прочному чувству общности интересов, которое столь часто заменяет любовь и даже супружескую привязанность в семьях парижских коммерсантов, принялась трудиться над благосостоянием дома со всем пылом своего деятельного ума. И так протекала вся ее жизнь: однообразно, невозмутимо, добродетельно, без любви...

Без любви? Не может быть, чтобы женщина не полюбила. Молодая красивая женщина, которая живет в Париже, читает романы, рукоплещет актрисам, умирающим на сцене от любовных мук, — могла ли она пройти весь путь от юности до старости так, чтобы ее сердце ни разу не заговорило? Если бы речь шла о любой другой женщине, он не поверил бы этому. Почему же он должен поверить этому про свою мать?

Конечно, и она могла бы полюбить, как всякая другая! Неужели она должна отличаться от других только потому, что она его мать?

Она была молода, была во власти поэтических грез, волнующих все юные сердца. Запертая, заточенная в лавке рядом со скучнейшим мужем, способным говорить лишь о торговле, она мечтала о путешествиях, о пейзажах, залитых лунным светом, о поцелуях в вечерней полутьме. И вот однажды появился молодой человек, как появляются герои в романах, и заговорил так же, как говорят они.

Она полюбила его. Почему бы и нет? Она — его мать! Так что же? Неужели он настолько слеп и глуп, чтобы отвергать очевидность единственно потому, что дело касается его матери?

Отдалась ли она?.. Несомненно, — не было же у этого человека другой спутницы жизни, остался же он верен разлученной с ним, стареющей женщине, оставил же наследство своему сыну, их сыну!..

Пьер встал, дрожа всем телом, охваченный такой яростью, что ему хотелось убить кого-нибудь! Он поднял руку и замахнулся, словно для удара, он чувствовал потребность разить, избивать, калечить, душить! Кого? Всех на свете — отца, брата, покойника, мать!

Он бросился домой. Что теперь делать?

Когда он проходил мимо башенки у сигнальной мачты, пронзительный вопль сирены рванулся ему навстречу так неожиданно, что Пьер едва не упал. Он попятился к гранитному парапету и сел на него, обессиленный, в полном изнеможении.

Пароход, откликнувшийся первым, был, видимо, совсем близко, где-то у входа в гавань, так как прилив уже начался.

Пьер обернулся и увидел красный глаз, тускло горевший в тумане. Потом в рассеянном свете электрических огней порта, между обоими молами, выросла большая черная тень. Голос ночного сторожа, хриплый голос старого отставного капитана, крикнул за спиной Пьера:

— Название судна?

Такой же хриплый голос лоцмана, стоявшего на палубе, ответил из тумана:

— «Санта-Лючия».

— Страна?

— Италия.

— Порт?

— Неаполь.

И Пьеру почудилось, что перед его помутившимся взором встает огненный султан Везувия, а у подножия вулкана летают светляки в апельсиновых рощах Сорренто и Кастелламаре! Сколько раз твердил он в мечтах эти милые его сердцу имена, как будто ему были знакомы те волшебные края. О, если бы он мог уехать, сейчас же, куда глаза глядят и никогда больше не возвращаться, никогда не писать, никогда не подавать вестей о себе! Но — увы! — надо было вернуться в родительский дом и лечь в постель.

Нет, он не вернется, он будет ждать рассвета. Голоса сирен ему по душе. Он встал и принялся шагать взад и вперед, как офицер, отбывающий вахту на палубе.

За первым пароходом шел другой, огромный и таинственный.

Это был англичанин; он возвращался из Индии.

Пьер увидел еще несколько судов, выплывающих одно за другим из непроницаемого мрака. Но туман не рассеивался, сырость становилась невыносимой, и он вернулся к городу. Он так озяб, что зашел в матросский кабачок выпить грогу; когда пряный, горячий напиток обжег ему небо и горло, он почувствовал, что к нему возвращается надежда.

Не ошибся ли он? Ведь он сам хорошо знал, какие у него бывают сумасбродные и безрассудные мысли! Ну конечно же, он ошибается! Он нагромоздил улики, как в обвинительном акте против невинного, которого всегда так легко осудить, если хочется верить в его виновность. Надо выспаться, тогда утром все покажется другим. И он вернулся домой, лег в постель и усилием воли заставил себя заснуть.

Пьер только на час или два забылся тревожным сном. Проснувшись в полумраке теплой, уединенной комнаты, он, еще прежде чем в нем пробудилось сознание, почувствовал ту мучительную тяжесть, ту подавленность, какую оставляет в нас горе, с которым мы заснули. Несчастье, только задевшее нас накануне, как будто проникает во время сна в самую нашу плоть и томит, изнуряет ее, точно лихорадка. Ему сразу вспомнилось все, и он сел в кровати.

Медленно, одно за другим, стал он перебирать все те рассуждения, которые терзали его сердце под вопли сирен на молу. Чем больше он размышлял, тем меньше оставалось сомнений. Собственная логика, подобно руке, которая тянет за собой и душит, неумолимо влекла его к жестокой истине.

Ему было жарко, во рту пересохло, сердце колотилось. Он поднялся, чтобы растворить окно и вдохнуть свежий воздух, и тут из-за стены до него донесся негромкий храп.

В соседней комнате Жан спокойно спал и тихонько похрапывал. Он спал! Он ничего не предчувствовал, ни о чем не догадывался! Человек, который был другом их матери, оставил ему все свое состояние. И он взял деньги, находя это справедливым и в порядке вещей.

Он спал, обеспеченный и довольный, не зная, что рядом его брат задыхается от муки, от отчаяния. И в Пьере закипал гнев на безмятежно и сладко похрапывающего брата.

Еще вчера Пьер мог постучать в его дверь, войти и, сев у постели, сказать брату, едва очнувшегося от сна:

«Жан, ты не должен принимать наследства; оно может бросить тень на нашу мать и обесчестить ее».

Но сегодня он уже не мог так поступить, не мог сказать Жану, что не считает его сыном их отца. Теперь надо было таить, хоронить в себе обнаруженный им позор, прятать от всех замеченное пятно, чтобы никто не узнал о нем, даже и брат — в особенности брат.

Теперь его уже не тревожила суетная забота о том, что скажут «люди. Пусть хоть все на свете обвиняют его мать, лишь бы он был убежден в ее невинности, один он. Как теперь жить рядом с ней изо дня в день и думать, глядя на нее, что она зачала брата в объятьях чужого человека?

Но она была так спокойна и невозмутима, так уверена в себе! Возможно ли, чтобы женщина, подобная его матери, чистая сердцем и прямодушная, могла пасть, увлеченная страстью, а впоследствии ничем не выдать своего раскаяния, укоров нечистой совести?

Ах, раскаяние, раскаяние! Когда-то, в первое время, оно, должно быть, жестоко терзало ее, но потом это прошло, как все проходит. Конечно, она оплакивала свое падение, но мало-помалу почти забыла о нем. Не обладают ли все женщины, решительно все, этой необычайной способностью забвения, так что спустя несколько лет они едва узнают того, кто прижимался устами к их устам и осыпал поцелуями их тело? Поцелуй разит, точно молния, страсть проносится грозой, потом жизнь, как и небо, снова безоблачна, и все идет по-прежнему. Разве вспоминают о туче?

Пьер не мог больше оставаться в своей комнате. Этот дом, дом отца, угнетал его. Он чувствовал тяжесть крыши над головой, стены душили его. Ему хотелось пить; он зажег свечу и пошел на кухню выпить холодной воды из-под крана.

Он спустился в нижний этаж, а потом, поднимаясь по лестнице с полным графином, присел в одной рубашке на ступеньку, где тянуло сквозняком, и стал жадно пить воду прямо из горлышка, большими глотками, как человек, запыхавшийся от бега. Он еще посидел, не двигаясь, и его поразила тишина дома; постепенно он стал различать малейшие звуки. Сначала тиканье часов в столовой; казалось, оно становилось громче с каждой минутой. Потом он опять услышал храп, старческий храп, прерывистый, частый, — видимо, это храпел отец; его передернуло от мысли, словно она впервые вспыхнула у него в мозгу, что эти двое людей, храпевшие под одной крышей, отец и сын, не имеют друг с другом ничего общего! Никакие узы, даже самые невесомые, не связывали их, и они этого не знали! Они дружески беседовали между собой, обнимались, вместе радовались и печалились, как будто в их жилах текла одна кровь. А между тем двое людей, родившихся на противоположных концах земли, не могли бы быть более чуждыми друг другу, чем этот отец и этот сын; они думали, что любят друг друга, потому что между ними стояла мать. Да, именно ложь породила эту отеческую и сыновнюю любовь, ложь, которую нельзя разоблачить, о которой никто никогда не узнает, кроме него, кроме истинного сына.

А все-таки что, если он ошибается? Как убедиться? Ах, если бы какое-нибудь сходство, хоть малейшее, между его отцом и Жаном, то таинственное, передающееся от дедов к правнукам сходство, которое свидетельствует, что целый род нисходит по прямой линии от одного объятия. Ему, врачу, чтобы уловить это сходство, достаточно было бы подметить форму челюсти, горбинку носа, расстояние между глазами, строение зубов или волос, даже еще меньше — жест, привычку, манеру держаться, унаследованный вкус, какой-нибудь характерный для опытного глаза признак.

Он доискивался, но ничего не мог припомнить, ровно ничего. Впрочем, до сих пор он плохо всматривался, плохо наблюдал, так как не имел никакой надобности отыскивать эти неуловимые приметы.

Он встал, чтобы вернуться к себе в комнату, и начал медленно подниматься по лестнице, погруженный в раздумье. Поравнявшись с дверью брата, он круто остановился и протянул руку, чтобы открыть ее. Его охватило неодолимое желание сейчас же увидеть Жана, пристально взглянуть в него, застигнуть его во время сна, когда все спокойно, когда мускулы не напряжены и отдыхают, когда с лица сошли все ужимки жизни. Он овладеет тайной его спящего лица, и, если есть сколько-нибудь уловимое сходство, оно не ускользнет от него.

А если Жан проснется, что сказать ему? Как объяснить свое посещение?

Он все не уходил и судорожно сжимал пальцами дверную ручку, подыскивая какой-нибудь предлог, чтобы войти.

Вдруг он вспомнил, что на прошлой неделе, когда у Жана разболелись зубы, он дал ему пузырек с каплями. Разве у него самого не могли болеть зубы? Вот он и придет за лекарством. И Пьер вошел в комнату, но крадучись, как вор.

Жан спал, приоткрыв рот, глубоким, здоровым сном. Его борода и белокурые волосы выделялись на белизне подушки, словно золотое пятно. Он не проснулся, только перестал храпеть.

Пьер, склонившись над братом, жадно глядывался в него. Нет, этот молодой человек не походил на Ролана: и Пьер опять вспомнил об исчезнувшем портрете Марешаля. Он должен его найти! Посмотрев на него, он, быть может, перестанет терзаться сомнениями.

Жан шевельнулся, почувствовав чье-то присутствие или обеспокоенный светом свечи, которую брат поднес к его лицу. Тогда Пьер на цыпочках отступил к двери и бесшумно притворил ее за собою; он вернулся к себе, но в постель уже не лег.

Медленно наступал рассвет. Часы в столовой отбивали час за часом, и бой их был полновзвучным и торжественным, как будто этот небольшой часовой механизм вобрал в себя соборный колокол. Звон поднимался по пустой лестнице, проникал сквозь двери и стены и замирал в глубине комнат, в нечутких ушах спящих. Пьер шагнул назад и вперед по комнате, от кровати к окну. Что ему делать? Он был слишком потрясен, чтобы провести этот день в семье. Ему хотелось побыть одному, по крайней мере, до завтра, чтобы поразмыслить, успокоиться, найти в себе силы для той повседневной жизни, которую опять надо будет вести.

Ну что ж, он поедет в Трувиль, посмотрит на тех отдыхающих, которыми кишит пляж. Это развлечет его, изменит ход его мыслей, даст ему время свыкнуться с ужасным открытием.

Как только забрезжил рассвет, он умылся, оделся. Туман рассеялся, погода была хорошая, очень хорошая. Пароход в Трувиль отходил только в девять часов, и Пьер подумал, что ему следовало бы перед отъездом проститься с матерью.

Дождавшись часа, когда она обычно вставала, он спустился вниз и подошел к ее двери. Сердце его билось так сильно, что он остановился перевести дыхание. Его рука, вялая и дрожащая, лежала на ручке двери, но он не в силах был повернуть ее. Он постучал. Голос матери спросил:

— Кто там?

— Я, Пьер.

— Что тебе?

— Только попрощаться. Я уезжаю на весь день в Трувиль с друзьями.

— Я еще в постели.

— Ты не вставай, не надо. Я поцелую тебя вечером, когда вернусь.

Он уже надеялся, что сможет уехать, не повидав ее, не коснувшись ее щеки лживым поцелуем, от которого его заранее мутило.

Но она ответила:

— Сейчас открою. Ты только подожди, пока я опять лягу.

Он услышал шаги ее босых ног по полу, потом стук отодвигаемой задвижки.

— Войди! — крикнула она.

Пьер вошел. Она сидела на постели, возле Ролана, который, в ночном колпаке, повернувшись к с гене, упорно не желал просыпаться. Разбудить старика можно было, только тряся его изо всех сил за плечо. В дни рыбной ловли, в назначенный матросом Папагри час, звонком вызывали служанку, чтобы она растолкала хозяина, спящего непробудным сном.

Подходя к матери, Пьер взглянул на нее, и ему вдруг показалось, что он впервые видит ее.

Она подставила ему обе щеки, и, поцеловав ее, он сел на низенький стул.

— Ты еще с вечера решил поехать в Трувиль? — спросила она.

— Да, с вечера.

— К обеду вернешься?

— Не знаю еще. Во всяком случае, не ждите меня.

Он рассматривал ее с изумлением и с любопытством. Так эта женщина — его мать! Это лицо, которое он привык видеть с детства, как только его глаза научились различать предметы, эта улыбка, голос, такой знакомый, такой родной, показались ему внезапно новыми, совсем иными, чем были для него всегда. Он понял, что, любя мать, никогда не вглядывался в нее. Между тем это была она, все мельчайшие черты ее лица были ему знакомы, только он впервые видел их так отчетливо. Пьер изучал дорогой ему облик с таким тревожным вниманием, что он представился ему совсем иным, каким он никогда его раньше не видел.

Он встал, собираясь уйти, но, внезапно уступив непреодолимому желанию узнать правду, терзавшему его со вчерашнего дня, сказал.

— Послушай, кажется, когда-то в Париже в нашей гостиной был портрет-миниатюра Марешала.

Мгновение она колебалась, или ему почудилось, что она колеблется, потом ответила:

— Да, был.

— Куда же делся этот портрет?

И на этот раз она могла бы, пожалуй, ответить быстрее.

— Куда делся... постой... что-то не припомню. Наверно, он у меня в секретере.

— Может быть, ты найдешь его?

— Поищу. Зачем он тебе?

— Не мне. Я подумал, что надо бы отдать портрет Жану, это ему будет приятно.

— Ты прав, это хорошая мысль. Я поищу портрет, как только встану.

И он вышел.

День был безоблачный, тихий, без малейшего ветра. На улице, казалось, всем было весело — коммерсантам, шедшим по своим делам, и чиновникам, шедшим в канцелярии, и молоденьким продавщицам, шедшим в магазин. Кое-кто даже напевал, радуясь ясному дню.

На трувильский пароход уже садились пассажиры. Пьер устроился поближе к корме, на деревянной скамейке.

« Встревожил ее мой вопрос о портрете или только удивил? — спрашивал он себя. — Потеряла она его или спрятала? Знает она, где он, или не знает? А если спрятала, то почему?»

И рассудок его, следуя все тем же путем, от заключения к заключению, пришел к такому выводу.

Этот портрет, портрет друга, портрет любовника, оставался в гостиной на виду до того самого дня, когда женщина, мать, первая, раньше всех, заметила сходство портрета с ее сыном. Наверно, она уже давно со страхом искала это сходство; и вот, обнаружив его, видя, что оно проявилось, и понимая, что не сегодня-завтра его могут заметить и другие, она однажды вечером убрала миниатюру и, не решаясь уничтожить ее, спрятала.

Пьер ясно припомнил теперь, что миниатюра исчезла давно, задолго до их отъезда из Парижа! Она исчезла, думалось ему, когда у Жана начала расти борода и он вдруг стал похож на молодого блондина, улыбающегося с портрета.

Пароход отчалил, и сотрясение палубы нарушило ход мыслей Пьера и отвлекло его внимание. Поднявшись со скамьи, он стал смотреть на море.

Маленький пароходик отошел от мола, повернул налево и, пытаясь, отдуваясь, подрагивая, направился к дальнему берегу, едва видневшемуся в утренней дымке. Там и сям маячил красный парус большой рыбацкой лодки, неподвижный над морской гладью, точно большой камень, выступающий из воды. Сена, спускаясь от Руана, походила на широкий морской рукав, разделяющий две соседние полосы суши.

На переезд до Трувильского порта ушло меньше часа. Было время купанья, и Пьер отправился на пляж.

Большим садом, полным ослепительно ярких цветов, казался этот пляж издали. На желтом песке, от мола до Черных скал, зонтики всех цветов, шляпки всех фасонов, платья всех оттенков, то сгрудившиеся перед кабинками, то вытянутые в несколько рядов у воды, то разбросанные где придется, поистине напоминали огромные букеты на необъятном лугу. Смутный близкий и далекий гул голосов, разносившийся в прозрачном воздухе, возгласы и крики купающихся детей, звонкий смех женщин — все это сливалось в непрерывный веселый шум, который смешивался с едва ощутимым ветерком и, казалось, проникал в грудь вместе с ним.

Если бы Пьера бросили в море с палубы корабля в сотне миль от берега, он и тогда не почувствовал бы себя более затерянным, более оторванным от всех, более одиноким, более во власти своих мучительных дум, чем здесь, среди этих людей. Он почти касался их, слышал, не прислушиваясь, обрывки фраз, видел, не глядя, мужчин, любезничающих с женщинами, и женщин, улыбающихся мужчинам.

И вдруг, словно пробудившись, он отчетливо увидел их всех, и в нем поднялась ненависть к ним, потому что они казались счастливыми и довольными.

Осаждаемый горькими мыслями, он ближе подходил к отдельным группам, кружил возле них. Все эти разноцветные наряды, подобные букетам, рассыпанным на песке, все эти красивые ткани, яркие зонтики, искусственная грация талий, стянутых корсетом, все изобретательные ухищрения моды, начиная от изящных башмачков до вычурных шляпок, пленительные жесты, воркующие голоса и сияющие улыбки — словом, все это выставленное напоказ кокетство внезапно представилось ему пышным цветением женской испорченности. Все эти разряженные женщины хотели одного — понравиться, обольстить кого-нибудь, ввести в соблазн. Они украсили себя для мужчин, для всех мужчин, исключая мужа: его уже не нужно было покорять. Они украсили себя для сегодняшнего и для завтрашнего любовника, для первого встречного, который им приглянулся, которому, быть может, уже назначено здесь свидание.

А мужчины, сидя подле них, глядя им в глаза, так близко наклоняясь к ним, что уста их почти соприкасались, призывали их, желали, охотились за ними, как за ловко ускользающей дичью, такой, казалось бы, податливой и доступной. Огромный пляж был в сущности, просто рынком любви, где одни женщины продавали себя, другие отдавались даром, эти торговались, набивая цену своим ласкам, а те еще только обещали их. Все эти женщины думали лишь о том, чтобы предложить свой товар, прельстить своим телом, уже отданным, проданным, обещанным другим мужчинам. И Пьер подумал, что повсюду на земле вечно происходит одно и то же.

Его мать поступила так же, как и другие, — вот и все! Как другие? Нет! Ведь были же исключения, и даже множество. Те женщины, которых он видел вокруг себя, богатые, взбалмошные, ищущие любовных приключений, принадлежали к фривольному миру большого света и даже полусвета, — ведь на таких пляжах, истоптанных легионом праздных созданий, не встретишь ни одной из несметного числа честных женщин, запертых в четырех стенах.

Начинался прилив, постепенно оттесняющий к городу первые ряды купальщиков. Они торопливо вскакивали и, подхватив раскладные стулья, убегали от желтых волн, окаймленных кружевом

пены. Кабинки на колесах, запряженные лошадьми, тоже отъезжали, и по мосткам, проложенным вдоль пляжа из конца в конец, медленно двигался непрерывный густой поток нарядной толпы, образуя два встречных течения, которые постепенно сливались воедино. Пьер, усталый и злой, раздраженный этой толкотней, выбрался с пляжа, поднялся в город и зашел позавтракать в скромный кабачок на окраине, где начинались поля.

Напившись кофе, он растянулся на двух стульях перед дверью и, так как прошлую ночь почти не спал, задремал в тени липы.

Проснувшись через несколько часов, он увидел, что пора возвращаться на пароход, и направился к пристани, чувствуя себя совершенно разбитым. Теперь ему не терпелось вернуться домой, он хотел знать, отыскала ли мать портрет Маршала. Заговорит ли она об этом первая или ему придется спросить самому? Если она будет дожидаться его вопроса, значит, у нее есть тайная причина не показывать портрета.

Но, вернувшись в свою комнату, он не спешил спуститься вниз к обеду. Он слишком страдал. Растревоженное сердце еще не нашло покоя. Но все же он наконец решился и вошел в столовую в ту минуту, когда садились за стол.

Все лица сияли от радости.

— Ну как? — сказал Ролан — Подвигается дело с покупками? Я ничего не хочу видеть, пока все не будет окончательно устроено.

Госпожа Ролан отвечала:

— Подвигается понемножку. Только нужно обдумать все как следует, чтобы не ошибиться. Нас очень заботит вопрос о мебелировке.

Она провела весь день с Жаном в лавках обойщиков и в мебельных магазинах. Ей нравились богатые и несколько пышные, бросающиеся в глаза ткани. Сыну, напротив, хотелось чего-нибудь попроще и поизящнее. И перед прилавком, заваленным образцами, мать и сын продолжали настаивать каждый на своем. Она утверждала, что посетителя, клиента надо сразу ошеломить, что, входя в приемную, он должен быть поражен богатством обстановки».

Жан, напротив, мечтая привлечь только светскую и состоятельную клиентуру, хотел завоевать уважение изысканных людей строгим и безупречным вкусом.

Спор, длившийся весь день, возобновился за супом.

У Ролана не было своего мнения.

— Я ни о чем не хочу слышать, — твердил он — Я посмотрю, когда все будет готово.

Госпожа Ролан обратилась за советом к старшему сыну:

— Ну, а ты, Пьер? Что ты думаешь об этом?

Нервы у него были так натянуты, что он чуть было не выругался. Он все же ответил, но сухим тоном, в котором сквозило раздражение:

— Я полностью разделяю мнение Жана. Я люблю только простоту; простота в вопросах вкуса — то же, что прямота в характере человека.

Мать возразила:

— Не забудь, что мы живем в городе коммерсантов, где хороший вкус мало кем ценится.

Пьер ответил:

— Так что же? Разве это причина, чтобы подражать дуракам? Если мои сограждане глупы или нечестны, разве я обязан брать с них пример? Ведь не согрешит женщина только потому, что у ее соседок есть любовники.

— Ну и доводы у тебя, — рассмеялся Жан, — прямо изречения какого-нибудь моралиста.

Пьер ничего не ответил. Мать и брат опять заговорили о мебели и обивке. Он глядел на них так же, как утром, перед отъездом в Трувиль, смотрел на мать; он глядел на них, как посторонний наблюдатель, и ему в самом деле казалось, что он попал в чужую семью.

Отец в особенности поражал его и своей внешностью, и поведением. Этот толстяк, обрюзглый, самодовольный и тупой, его отец, его, Пьера! Нет, нет, Жан ничем не похож на него.

Его семья! В течение двух дней чужая, злокозненная рука, рука умершего, разорвала, уничтожила все узы, связывавшие этих четырех людей. Все кончено, все разрушено. У него нет больше матери, потому что он не может по-прежнему любить ее с тем преданным, нежным и благоговейным уважением, в каком нуждается сердце сына; у него больше нет брата, потому что брат-сын чужого человека; оставался только отец, этот толстый старик, которого он любить не мог, как ни старался.

И он вдруг спросил:

— Скажи, мама, ты нашла портрет?

Она удивленно раскрыла глаза:

— Какой портрет?

— Портрет Марешаля.

— Нет... то есть да... я не искала его, но, кажется, знаю, где он.

— О чем вы — спросил Ролан.

Пьер отвечал:

— Мы говорим о миниатюре с портретом Марешаля, который когда-то «стоял у нас в гостиной в Париже. Я подумал, что Жану будет приятно иметь его.

Ролан воскликнул:

— Как же, как же, отлично помню его и даже видел на прошлой неделе. Твоя мать вынула его из секретера, когда приводила в порядок свои бумаги Это было в четверг или в пятницу Помнишь, Луиза? Я как раз брился, а ты достала портрет из ящика и положила около себя на стул, вместе с пачкой писем, потом ты половину писем сожгла Как странно, что всего за два-три дня до получения Жаном наследства ты держала в руках этот портрет Я бы сказал, что это предчувствие, если бы верил в них.

Госпожа Ролан спокойно ответила:

— Да, да, я знаю, где портрет, сейчас принесу.

Итак, она солгала. Она солгала не далее чем утром, ответив на вопрос сына, что случилось с портретом:» Что-то не припомню... наверно, он у меня, в секретере «.

Она видела портрет, прикасалась к нему, брала его в руке и рассматривала всего несколько дней тому назад и вновь спрятала в потайной ящик вместе с письмами, его письмами к ней.

Пьер смотрел на свою мать, солгавшую ему. Он смотрел на нее с иступленным гневом сына, обманутого, обворованного в священной любви к ней, и с ревностью мужчины, который долго был слеп и обнаружил наконец позорную измену. Будь он мужем этой женщины, он схватил бы ее за руки, за плечи, за волосы, бросил бы наземь, ударил, избил, растоптал бы ее. А он ничего не мог ни сказать, ни сделать, ни выразить, ни открыть. Он был ее сыном, ему не за что было мстить, ведь не его обманули.

Нет, она обманула и сына в его любви, в его благоговейном почитании. Она обязана была оставаться безупречной в его глазах, это долг каждой матери перед своими детьми. И если поднявшаяся в нем ярость доходила почти до ненависти, то именно потому, что он считал мать более преступной по отношению к нему, к сыну, чем даже по отношению к его отцу.

Любовь мужчины и женщины — это добровольный договор, и тот, кто его нарушил, виновен только в измене, но когда женщина становится матерью, ее долг увеличивается, ибо природою ей вверено потомство. И если она согрешит, она поступит низко, подло и бесчестно!

— Что ни говори, — промолвил Ролан, как всегда в конце обеда вытягивая ноги под столом и смакуя черно смородиновую наливку, — недурно жить, ничего не делая и имея небольшой достаток. Надеюсь, что Жан будет угощать нас теперь превкусными обедами. Пусть даже у меня иной раз и сделается расстройство желудка.

Затем он обратился к жене:

— Поди-ка принеси портрет, душечка, раз ты кончила обедать. Мне тоже хочется взглянуть на него.

Она встала, взяла свечу и вышла. Ее отсутствие показалось Пьеру долгим, хотя не длилось и трех минут. Потом г-жа Ролан появилась снова, улыбаясь и держа за кольцо миниатюру в старинной Позолоченной рамке.

— Вот он, — сказала она, — я сразу нашла его.

Пьер первый потянулся за портретом и, получив его, стал рассматривать, держа в вытянутой руке. Потом, чувствуя, что мать смотрит на него, он медленно перевел глаза на брата, как бы для сравнения. У него чуть не вырвалось в порыве ярости — «А он похож на Жана!» Хотя он и не решился произнести эти грозные слова, но взгляд, который он переводил с живого лица на портрет, был достаточно красноречив.

Конечно, у них имелись общие черты, та же борода, тот же лоб, но ничего достаточно резко выраженного, что позволило бы утверждать: «Вот отец, а вот сын». Это было скорее фамильное сходство, что-то общее в облике, присущее людям одной и той же крови. Но для Пьера гораздо убедительней, чем этот склад лица, было то, что мать встала из-за стола, повернулась спиной и с нарочитой медлительностью стала убирать в буфет сахарницу и наливку.

Стало быть, она поняла, что он догадался или, по крайней мере, подозревает!

— А ну-ка, покажи мне, — сказал Ролан.

Пьер протянул отцу миниатюру, и тот, придвинув свечу, стал разглядывать ее, потом проговорил растроганно:

— Бедняга! Подумать только, что он был таким, когда мы с ним познакомились. Черт возьми, как быстро летит время! Ничего не скажешь, в ту пору он был красивый мужчина и с такими приятными манерами. Правда, Луиза?

Так как жена не отвечала, он продолжал:

— И какой ровный характер! Никогда я не видал его в плохом настроении. И вот все кончено, ничего от него не осталось... кроме того, что он завещал Жану. Что ж, не грех будет сказать, что он был добрым и верным другом до конца. Даже умирая, он не забыл нас.

Жан, в свою очередь, протянул руку за портретом. С минуту он рассматривал его и потом промолвил с сожалением:

— А я совсем не узнаю его. Я помню его только седым стариком.

И он вернул миниатюру матери. Она бросила на нее быстрый, как будто испуганный взгляд и тотчас отвела глаза; потом сказала своим обычным ровным голосом:

— Теперь это принадлежит тебе, Жано: ты его наследник. Мы отнесем портрет на твою новую квартиру.

И так как все перешли в гостиную, она поставила миниатюру на камин, около часов, на прежнее ее место.

Ролан набивал трубку, Пьер и Жан закуривали папиросы. Обычно один из них курил, расхаживая по комнате, другой — сидя в кресле, положив ногу на ногу. Отец же всегда садился верхом на стул и ловко сплевывал издали в камин.

Госпожа Ролан в низком креслице, у столика с лампой, вышивала, вязала или метила белье.

В этот вечер она начала вышивать коврик для спальни Жана. Это была трудная и сложная работа, требующая, особенно вначале, пристального внимания. Все же время от времени, не переставая считать стежки, она поднимала глаза и поспешно, украдкой, бросала взгляд на прислоненный к часам портрет покойного. И Пьер, который с папиросой в зубах, заложив руки за спину, ходил по комнате, меряя четыремя-пятью шагами тесную гостиную, каждый раз перехватывал этот взгляд матери.

По всей видимости, они следили друг за другом, между ними завязалась тайная борьба, и щемящая тоска, тоска невыносимая, сжимала сердце Пьера. Истерзанный сам, он не без злорадства говорил себе: «Как она сейчас должна страдать, если знает, что я разгадал ее!» И каждый раз, проходя мимо камина, он останавливался и смотрел на светловолосую голову Маршала, чтобы ясно было видно, что его преследует какая-то неотвязная мысль И маленький портрет, меньше ладони, казался живым, злобным, опасным недругом, внезапно вторгшимся в этот дом, в эту семью.

Вдруг зазвенел колокольчик у входной двери. Г-жа Ролан, всегда такая спокойная, вздрогнула, и Пьер понял, до чего напряжены ее нервы.

— Это, наверно, госпожа Роземильи, — сказала она, снова бросив тревожный взгляд на камин.

Пьер угадал или полагал, что угадал, причину ее страха и волнения. Взор у женщин проницателен, мысль проворна, ум подозрителен. Та, что сейчас войдет, увидит незнакомую ей миниатюру и, может быть, с первого же взгляда обнаружит сходство между портретом и Жаном. И она все узнает, все поймет! Его охватил страх, внезапный, панический страх, что позорная тайна откроется, и, в ту минуту когда отворялась дверь, он повернулся, взял миниатюру и подсунул ее под часы так, что ни отец, ни брат не заметили этого.

Когда он снова встретился глазами с матерью, ее взгляд показался ему смятенным и растерянным.

— Добрый вечер, — сказала г-жа Роземильи, — я пришла выпить с вами чашечку чаю.

Пока все суетились вокруг гостыи, справляясь об ее здоровье, Пьер выскользнул в дверь, оставшуюся открытой.

Его уход вызвал общее удивление. Жан, опасаясь, как бы г-жа Роземильи не обиделась, пробормотал с досадой:

— Что за медведь!

Госпожа Ролан сказала:

— Не сердитесь на него, он не совсем здоров сегодня и, кроме того, устал от поездки в Трувиль.

— Все равно, — возразил Ролан, — это не причина, чтобы убегать, как дикарь.

Госпожа Роземильи, желая сгладить неловкость, весело сказала:

— Да нет же, нет, он ушел по-английски; в обществе всегда так исчезают, когда хотят уйти пораньше.

— В обществе, может быть, это принято, — возразил Жан, — но нельзя же вести себя по-английски в собственной семье, а мой брат с некоторых пор только это и делает.

VI

В течение недели или двух у Роланов не произошло ничего нового. Отец ловил рыбу, Жан с помощью матери обставлял свою квартиру. Пьер, угрюмый и злой, появлялся только за столом.

Однажды вечером отец задал ему вопрос:

— Какого черта ты ходишь с такой похоронной миной? Я замечаю это уже не первый день.

Пьер ответил:

— Это потому, что меня подавляет тяжесть бытия.

Старик ничего не понял и продолжал сокрушенно:

— Это ни на что не похоже. С тех пор как нам посчастливилось получить наследство, все почему-то приуныли. Можно подумать, будто у нас случилось несчастье, будто мы оплакиваем кого-нибудь!

— Я и оплакиваю, — сказал Пьер.

— Ты? Кого это?

— Человека, которого ты не знал и которого я очень любил.

Ролан вообразил, что дело идет о какой-нибудь интрижке, о женщине легкого поведения, за которой волочился сын, и спросил:

— Конечно, женщину?

— Да, женщину.

— Она умерла?

— Нет, хуже, — погибла.

— А!

Хотя старик и удивился этому неожиданному признанию, сделанному в присутствии его жены да еще таким странным тоном, он не стал допытываться, так как считал, что в сердечные дела нечего вмешиваться посторонним.

Госпожа Ролан как будто ничего не слышала; она была очень бледна и казалась больной. Муж с недавних пор начал замечать, что иногда она так опускается на стул, словно ее ноги не держат, и тяжело переводит дух, почти задыхается; он уже не раз говорил ей:

— Право, Луиза, ты на себя не похожа. Совсем захлопоталась с этой квартирой. Отдохни хоть немного, черт возьми! Жану спешить некуда, он теперь богатый.

Она качала головой и не отвечала ни слова.

В этот вечер Ролан заметил, что она еще бледнее обычного.

— Видно, старушка моя, — сказал он, — ты совсем расхворалась, надо полечиться — И, повернувшись к сыну, добавил: — Ведь ты видишь, что мать заболела. Ты хоть выслушай ее.

Пьер отвечал:

— Нет, я не замечаю в ней никакой перемены.

Ролан рассердился:

— Да ведь это же слепому видно! Что толку в том, что ты доктор, если не видишь даже, что мать нездорова? Посмотри-ка, ну посмотри же на нее! Да тут подохнешь, пока этот доктор что-нибудь заметит!

Госпожа Ролан стала задыхаться, в лице у нее не было ни кровинки.

— Ей дурно! — крикнул Ролан.

— Нет... нет... ничего... сейчас пройдет... ничего.

Пьер подошел к матери и, глядя на нее в упор, спросил:

— Что с тобой?

Она повторяла прерывистым шепотом:

— Да ничего... ничего... уверяю тебя... ничего.

Ролан побежал за уксусом и, вернувшись, протянул пузырек сыну:

— На, держи... да помоги же ей! Ты хоть пульс-то пощупал?

Пьер нагнулся к матери, чтобы пощупать пульс, но она так резко отдернула руку, что ударилась о соседний стул.

— Если ты больна, — сказал Пьер холодно, — то дай мне осмотреть тебя.

Тогда она протянула руку. Рука была горячая, пульс бился неровно и учащенно. Он пробормотал:

— Ты в самом деле больна. Надо принять что-нибудь успокаивающее. Я напишу тебе рецепт.

Он начал писать, нагнувшись над бумагой, но вдруг услышал негромкие частые вздохи, всхлипывания, звук сдерживаемых рыданий. Он обернулся: она плакала, закрыв лицо руками.

Ролан растерянно спрашивал:

— Луиза, Луиза, что с тобой? Что с тобой такое?

Она не отвечала и продолжала безутешно рыдать.

Муж пытался отнять ее руки от лица, но она противилась, повторяя:

— Нет, нет, нет!

Он повернулся к сыну:

— Да что с ней? Я никогда не видел ее такой.

— Ничего страшного, — ответил Пьер, — просто нервный припадок.

Ему становилось легче при виде терзаний матери, и гнев его остывал, словно эти слезы смягчали ее позорную вину. Он смотрел на нее, как судья, удовлетворенный делом своих рук.

Но вдруг она вскочила и бросилась к двери так внезапно и неожиданно, что ни Ролан, ни Пьер не успели остановить ее; она убежала в спальню и заперлась.

Ролан и Пьер остались одни.

— Ты понимаешь что-нибудь? — спросил Ролан.

— Да, — ответил сын, — это просто легкое расстройство нервов, которое часто дает себя знать в мамином возрасте. Такие припадки могут повториться.

Действительно, они стали повторяться у нее почти каждый день, и Пьер умел вызывать их по своему желанию, точно владея тайной ее странного, неведомого недуга. Он подстерегал на ее лице выражение покоя и с изощренностью палача одним каким-нибудь словом пробуждал затихшую на мгновение боль.

Но и он страдал, и не меньше, чем она! Он жестоко страдал оттого, что больше не любил ее, не уважал, оттого, что мучил ее. Разбередив кровоточащую рану, нанесенную им сердцу женщины и матери, насладившись ее мукой и отчаянием, он уходил из дому и долго бродил по городу, терзаясь раскаянием, мучаясь жалостью, скорбя о том, что так унизил ее своим сыновним презрением. Уж лучше броситься в море, утопиться, чтобы положить конец всему!

С какой радостью он теперь простил бы ее! Но это было выше его сил, он не мог забыть. Если бы хоть не мучить ее больше; но и этого он не мог, — он сам мучился по-прежнему. Он приходил к семейному обеду, полный добрых намерения, но как только видел ее, как только встречал ее взгляд, прежде такой прямой и честный, а теперь виноватый, испуганный и растерянный, он помимо своей воли наносил ей новые удары, не в состоянии удержать предательских слов, просившихся на уста.

Постыдная тайна, известная только им двоим, подстрекала его. Это был яд, который он носил теперь в крови, и ему, как бешеной собаке, хотелось кусаться.

Ничто теперь не мешало ему истязать ее, потому что Жан уже почти переселился на новую квартиру и возвращался домой только по вечерам — пообедать и переночевать.

Жан нередко замечал язвительность и раздражение брата и приписывал их зависти. Уж не раз он решал, что пора осадить его и образумить, потому что жизнь в семье из-за постоянных сцен становилась крайне тягостной. Но он не жил теперь дома, ему меньше приходилось страдать от грубости Пьера, а любовь к покою поощряла его долготерпение. К тому же богатство вскружило ему голову, и он думал теперь только о том, что непосредственно касалось его самого. Он приходил домой, поглощенный мелкими заботами, занятый покроем нового костюма, фасоном шляпы, размером визитных карточек. И он не переставал толковать о предметах обстановки, о полках стенного шкафа в спальне, где будет лежать белье, о вешалке в передней и об электрических звонках, установленных для того, чтобы нельзя было тайно проникнуть в его квартиру.

В честь новоселья решено было устроить прогулку в Сен-Жуэн, а вечером отправиться к Жану пить чай. Ролану хотелось поехать на «Жемчужине», но из-за дальности расстояния и неуверенности, что можно добраться туда морем, если не будет попутного ветра, от его предложения отказались, и для прогулки был нанят открытый экипаж.

Выехали около десяти часов, чтобы поспеть к завтраку. Пыльное шоссе тянулось среди нормандских полей: окруженные деревьями фермы придавали волнистой равнине сходство с огромным парком. Две крупные лошади ленивой рысцой везли экипаж, семейство Роланов, г-жа Роземильи и капитан Босир сидели молча, оглушенные шумом колес, зажмурив от пыли глаза.

Стояла пора жатвы. Оттененные темно зеленым клевером и ярко зеленой свекловицей желтые хлеба отливали золотом и словно светились. Казалось, они впитали в себя падавшие на них лучи солнца. Кое-где уборка уже началась, и на полях, наполовину скошенных, работали крестьяне; раскачиваясь всем телом, они взмахивали у самой земли широкими косами, похожими на крылья.

После двух часов езды экипаж свернул налево, миновал ветряную мельницу — серую, полусгнившую развалину, обреченный последыш старых мельниц, — и, въехав на чистенький двор, остановился перед нарядным домом — известным во всей округе трактиром.

Хозяйка, по прозвищу Красавица Альфонсина, вышла, улыбаясь, на порог и протянула дамам руку, чтобы по мочь им сойти с высокой подножки.

Под парусиновым навесом, на краю лужайки, в тени яблонь, уже завтракали гости — парижане, приехавшие из Этрета, и в доме слышались голоса, смех и звон посуды.

Пришлось завтракать в номере, так как все залы были переполнены. Ролан заметил прислоненные к стене сачки.

— Ага! — воскликнул он. — Уж не ловят ли здесь креветок?

— Как же, — отвечал Босир, — здесь самый лучший улов на всем побережье.

— Ах, черт, не заняться ли нам этим после завтрака?

Оказалось, что отлив бывает в три часа. Поэтому было решено после завтрака отправиться всей компанией на берег ловить креветок.

Ели мало, чтобы кровь не бросилась в голову, когда придется шлепать босиком по воде. Кроме того, надо было сберечь аппетит для роскошного обеда, заказанного на шесть часов, ко времени возвращения с ловли.

Ролану не сиделось на месте от нетерпения. Он решил купить особые сачки, употребляемые для ловли креветок, — небольшие сетчатые мешочки, прикрепленные к деревянному обручу на длинной палке, очень похожие на те, которыми ловят бабочек. Альфонсина, все так же улыбаясь, одолжила им свои собственные сачки. Потом она помогла дамам переодеться, чтобы они не

замочили платьям Она дала им юбки, толстые шерстяные чулки и плетеные башмаки. Мужчины разулись и надели купленные у местного сапожника деревянные сабо и туфли без задков.

Наконец двинулись в путь с сачками на плечах и корзинками за спиной. Г-жа Роземильи была прелестна в этом наряде бесхитростной и задорной прелестью крестьяночки. Юбка Альфонсины, кокетливо подоткнутая и подхваченная несколькими стежками, чтобы можно было свободно бегать и прыгать по скалам, открывала щиколотки и начало икр, упругих и гибких. Талия не была затянута, чтобы не стеснять движений, и на голову г-жа Роземильи надела соломенную шляпу садовника с широченными полями; ветка тамариска, придерживавшая загнутый край шляпы, придавала ей лихой мушкетерский вид.

Жан, с тех пор как получил наследство, каждый день задавал себе вопрос, жениться ли ему на г-же Роземильи или нет. Стоило ему увидеть ее, и он принимал решение предложить ей руку и сердце, но, оставшись один, начинал раздумывать и приходил к выводу, что можно подождать. Теперь он был богаче ее, она получала всего двенадцать тысяч франков дохода, но зато деньги ее были вложены в недвижимое имущество: ей принадлежали фермы и земельные участки в Гавре, расположенные у гавани, а они впоследствии могли сильно возрасти в цене. Состояния их были, значит, более или менее равны, а молодая вдова чрезвычайно ему нравилась.

Госпожа Роземильи шла впереди Жана, и, глядя на нее, он думал: «Да, надо решиться. Лучшей жены мне не найти».

Они шли по склону неширокой ложбины, спускавшейся от селения к прибрежным скалам; скалы в конце ложбины возвышались над морем на восемьдесят метров. Вдали, в рамке зеленых берегов, раскинувшихся справа и слева, сверкал на солнце серебристо-голубой треугольник воды и чуть заметный далекий парус, крохотный, как насекомое. Лучезарное небо почти сливалось с морем, и трудно было различить, где кончалось одно и начиналось другое; на этом светлом фоне вырисовывались обтянутые корсажем фигуры обеих женщин, шедших впереди мужчин.

Жан смотрел горящим взглядом на мелькавшие перед ним тонкие щиколотки, стройные ноги, гибкие бедра и большую, кокетливо заломленную шляпу г-жи Роземильи. И это обостряло в нем желание, толкало его на внезапное решение, как это нередко случается с слабовольными и застенчивыми людьми. Теплый воздух, в котором к запахам дрока, клевера и трав примешивался морской запах обнаженных отливом скал, бодрил его, опьянял, и решение его крепло с каждым шагом, с каждой секундой, с каждым взглядом, брошенным на изящный силуэт молодой женщины; он решился откинуть все сомнения и сказать ей, что любит ее, что просит ее быть его женой. Ловля креветок поможет ему, позволит остаться наедине с ней: и это будет так мило — объясниться в любви в живописном уголке, бродя в прозрачной воде и любуясь, как движутся под водорослями длинные усики креветок.

Дойдя до конца ложбины, до края пропасти, они заметили узенькую тропинку, вьющуюся по утесам; под ними, между морем и подножием горы, почти на половине спуска виднелось хаотическое нагромождение гигантских опрокинутых, перевернутых камней — они грудой лежали на каком-то подобии плато, образованном прежними обвалами, поросшем волнистой травой и убегавшем к югу насколько хватал глаз. На этой длинной, как будто изборожденной судорогами вулкана полосе кустарника и травы рухнувшие скалы казались развалинами исчезнувшего большого города, некогда глядевшего отсюда на океан, под защитой бесконечной белой гряды береговых утесов.

— Как красиво! — сказала, остановившись, г-жа Роземильи.

Жан догнал ее и с забившимся сердцем взял ее за руку, чтобы спуститься по узкой лестнице, высеченной в скале.

Они ушли вперед, а капитан Босир, крепко упираясь короткими ногами в землю, повел под руку г-жу Ролан, у которой от крутизны потемнело в глазах.

Ролан и Пьер шли позади всех, и доктору пришлось тащить отца, у которого так сильно кружилась голова, что он сел и стал съезжать со ступеньки на ступеньку.

Молодые люди, спускавшиеся первыми, шли быстро и вдруг увидели рядом с деревянной скамьей — местом отдыха на середине спуска — прозрачный родник, выбивающийся из узкой расщелины. Струйка воды стекала сначала в выбоину величиной с лохань, которую она сама себе проточила, потом низвергалась водопадом высотой не больше двух футов, пересекала тропинку, заросшую крессом, и, наконец, исчезала в траве и кустарнике на берегу, взрытом обвалами и загроможденном обломками.

— Ах, как хочется пить! — воскликнула г-жа Роземильи.

Но как напиться? Она попыталась зачерпнуть воду горстью, но вода стекала между пальцев. Жан догадался положить поперек тропинки камень; она встала на него коленями и принялась пить прямо из источника, который был теперь на уровне ее губ.

Напившись, она подняла голову; тысячи блестящих брызг усеяли ее щеки, волосы, ресницы, корсаж. Жан, склонясь к ней, прошептал:

— Как вы хороши!

Она ответила тоном, каким обычно бранят детей:

— Извольте молчать!

Это были первые слова, хоть сколько-нибудь напоминающие разговор влюбленных, которыми они обменялись.

— Давайте уйдем отсюда, пока нас не догнали, — сказал Жан в сильном смущении.

И в самом деле, совсем близко от них показались спина капитана Босира, который спускало» пятясь, поддерживая обеими руками г-жу Ролан, а повыше — старик Ролан, который черепашьим шагом по-прежнему сползал сидя, упираясь ногами и локтями; Пьер шел позади, следя за его движениями.

Спуск становился все менее крутым, и они вышли на тропинку, огибавшую огромные каменные глыбы, которые некогда низверглись с вершины горы. Г-жа Роземильи и Жан пустились бегом и скоро достигли берега, покрытого галькой. Они пересекли его и добрались до прибрежных скал, тянувшихся длинной и плоской, поросшей водорослями грядой, на которой поблескивали бесчисленные лужицы; море было еще далеко-далеко — за этой полосой темно-зеленой, липкой, лоснящейся морской травы.

Жан, подвернув брюки до колен, засучив рукава до локтя, чтобы не промочить одежду, крикнул: «Вперед! — и решительно прыгнул в первую попавшуюся лужу.

Госпожа Роземильи, более осторожная, все еще медлила входить в воду и, боязливо ступая, чтобы не поскользнуться на слизистых водорослях, обходила кругом узкую лужицу.

— Вы что-нибудь видите? — спрашивала она.

— Да, вижу, как ваше лицо отражается в воде.

— Если вы видите только это, ваш улов будет не из блестящих.

Он проговорил с нежностью:

— Из всех видов ловли я предпочел бы именно эту.

Она засмеялась.

— Попробуйте, и вы увидите, как рыбка проскользнет сквозь ваши сети.

— А все-таки... если бы вы захотели...

— Я хочу видеть, как вы ловите креветок... и больше ничего, покамест больше ничего.

— Какая вы злая! Пойдемте дальше, здесь ничего нет.

И он протянул ей руку, чтобы пройти по скользким камням. Она оперлась на него, и он вдруг почувствовал, что весь охвачен нежной страстью, что томится желанием, что жить без нее не может, — как будто гнездившийся в нем любовный недуг ждал только этого дня, чтобы прорваться наружу.

Вскоре они подошли к более глубокой расселине. Под водой, журча убегавшей в далекое море через невидимую трещину, колыхались и, казалось, уплывали розовые и зеленые травы, похожие на пряди длинных, тонких, причудливо окрашенных волос.

Госпожа Роземильи воскликнула:

— Смотрите, смотрите, вот креветка, толстая-претолстая!

Жан тоже увидел ее и смело прыгнул в расселину, хоть и промок до пояса.

Шевеля длинными усиками, маленькое животное медленно пятилось от сетки. Жан оттеснял его к водорослям, надеясь захватить его там. Но креветка, увидев себя в ловушке, молниеносно скользнула над сачком, мелькнула в воде и исчезла.

У г-жи Роземильи, с волнением следившей за ловлей, вырвался возглас:

— Ах, какой неловкий!

Ему стало обидно, и он с досады сунул сачок в самую гущу водорослей. Вытащив его на поверхность, он увидел в нем трех крупных прозрачных креветок, нечаянно извлеченных из их тайного убежища.

Он с торжеством поднес их г-же Роземильи, но она не посмела к ним прикоснуться, боясь острых зубчатых шипов, которыми вооружены их узкие головки.

Наконец, пересилив страх, она захватила их двумя пальцами за кончики длинных усов и переложила одну за другой в свою плетушку вместе с пучком водорослей, чтобы сохранить их живыми. Потом, найдя лужу помельче, она нерешительно вошла в воду; у нее слегка захватило дух от холода, ледящего ноги, но она храбро принялась за ловлю. Она обладала нужной ловкостью, хитростью, быстротой хватки и чутьем охотника; то и дело она вытаскивала сачком застигнутых врасплох креветок, обманутых рассчитанной медлительностью ее движений.

Жану больше не попадалось ничего, но он следовал за ней по пятам, прикасался к ней, склонялся над нею, притворяясь, что в отчаянии от своей неловкости и хочет поучиться у нее.

— Ну, покажите же мне, — говорил он, — покажите, как ловить.

Их головы отражались рядом в прозрачной воде, которую черные водоросли, росшие на самом дне, превращали в зеркало, и Жан улыбался ее лицу, смотревшему на него снизу, и иногда кончиками пальцев посылал поцелуй, падавший, казалось, на отражение его спутницы.

— Ах, как вы мне надоели! — говорила молодая женщина-Дорогой мой, никогда не нужно делать два дела зараз.

Он ответил:

— Я только одно и делаю. Я люблю вас.

Она выпрямилась и сказала серьезным тоном.

— Послушайте, что с вами вдруг случилось? У вас что, помрачение рассудка?

— Нет. Просто я люблю вас и решил наконец вам в этом признаться.

Они стояли по колено в соленой воде и, опираясь на сачки мокрыми руками, смотрели друг другу в глаза.

Она заговорила шутливо и не без досады:

— Неудачно вы выбрали время для таких признаний. Разве нельзя было подождать другого дня и не портить мне ловлю?

Он прошептал:

— Простите, но я не мог больше молчать. Я давно люблю вас. А сегодня вы так обворожительны, что я потерял голову.

Тогда она вдруг сдалась, как бы нехотя покоряясь необходимости и отказываясь от приятного развлечения ради делового разговора.

— Сядем вон на тот выступ, — сказала она, — там можно побеседовать спокойно.

Они вскарабкались на гору и уселись рядом на самом солнце, свесив ноги.

— Дорогой мой, вы уже не мальчик и я не девочка, — начала она — Мы оба прекрасно понимаем, о чем идет речь, и можем взвесить все последствия наших поступков. Раз вы решились сегодня объясниться мне в любви, я, естественно, предполагаю, что вы хотите жениться на мне?

Он никак не ожидал такого ясного и четкого изложения всех обстоятельств дела и отвечал простодушно:

— Конечно.

— Вы уже говорили об этом с отцом и матерью?

— Нет, я хотел сначала знать, примете ли вы мое предложение.

Она протянула ему еще влажную руку и, когда он порывисто сжал ее в своей, сказала:

— Я согласна. Мне кажется, вы человек добрый и честный. Но помните, что я не пойду за вас против воли ваших родителей.

— Неужели вы думаете, моя мать ничего не подозревает? Она не любила бы вас так, если бы не желала этого брака.

— Вы правы, я просто немного растерялась.

Жан ничего не ответил. Он, напротив, в душе удивлялся, что она так мало смущена и столь рассудительна. Он ожидал милого кокетства, отказов, подразумевающих согласие, трогательной любовной комедии с ловлей креветок и плесканьем в воде! И вот все уже кончено, он уже связан, женат, в одну минуту, после какого-нибудь десятка слов. Им больше нечего было сказать друг

другу, раз они уже объяснились; они испытывали замешательство от того, что все произошло так быстро, и были даже несколько сконфужены, поэтому они сидели молча, не решаясь заговорить, не решаясь вернуться к ловле, не зная, что им делать.

Голос Ролана выручил их:

— Сюда, сюда, дети! Посмотрите-ка на Босира. Вот молодец! Он прямо-таки опустошает море.

У капитана и в самом деле был чудесный улов. По пояс мокрый, он ходил от лужи к луже, с одного взгляда угадывая лучшие места, и медленными, точными движениями своего сачка обшаривал скрытые под водорослями углубления.

Красивые, прозрачные, серовато-палевые креветки трепетали на его ладони, когда он уверенным жестом вынимал их, чтобы бросить в плетушку.

Госпожа Роземильи, в полном восхищении, не отставала от капитана ни на шаг и всячески старалась подражать ему: почти забыв о своей помолвке, о Жане, в задумчивости сопровождавшем их, она всей душой отдавалась ловле и с детской радостью вытаскивала креветок из-под плавающих трав.

Вдруг Ролан воскликнул:

— Вот и госпожа Ролан идет к нам.

Сначала она вместе с Пьером осталась на пляже, так как ни ему, ни ей не хотелось лазать по скалам и мокнуть в лужах; но они не без колебаний решились на это. Она боялась сына, а он боялся за нее и за себя, боялся своей жестокости, преодолеть которой не мог.

Они сели друг подле друга на гальку.

И, греясь на солнце, зной которого умерялся морской прохладой, любуясь широким, безмятежным простором и голубой, отливающей серебром гладью вод, оба они одновременно думали —» Как хорошо нам было бы здесь в прежние времена «.

Она не осмеливалась заговорить с Пьером, зная наперед, что он ответит резкостью, а он не решался заговорить с матерью, также зная, что будет груб против своей воли.

Концом трости он ворошил круглые гальки, разбрасывал их, колотил по ним. Она, рассеянно глядя перед собой, взяла пригоршню мелких камешков и медленно, машинально пересыпала их с ладони на ладонь. Потом ее блуждающий без цели взгляд заметил Жана, ловившего среди водорослей креветок с г-жой Роземильи. Тогда она стала наблюдать за ними, следить за их движениями, смутно угадывая материнским чутьем, что они сейчас разговаривают между собою совсем не так, как обычно. Она видела, как они наклонялись и глядели в воду, как стояли друг против друга, когда вопрошали свои сердца, как они взобрались и сели на камень, чтобы там объясниться в любви.

Силуэты их были ясно видны; казалось, на всем горизонте нет никого, кроме них; и эти две фигуры на фоне неба, моря и прибрежных скал словно являли собой новый великий символ.

Пьер тоже смотрел на них; внезапно у него вырвался короткий смешок.

Не оборачиваясь к нему, г-жа Ролан спросила:

— Что с тобой?

Он продолжал смеяться.

— Я просвещаюсь. Изучаю, как готовятся носить рога.

Оскорбленная грубым выражением, она вздрогнула от гнева и возмущения, понимая скрытый смысл его слов.

— О ком ты это?

— О Жане, черт возьми! Разве не смешно смотреть на них?

Она прошептала глухим, дрожащим от волнения голосом:

— Как ты жесток, Пьер! Эта женщина — сама честность. Лучшего выбора твой брат не мог бы сделать.

Он громко рассмеялся, но смех его был деланный и отрывистый.

— Ха! ха! ха! Сама честность! Всякая женщина — сама честность... и все-таки все мужья рогаты. Ха! ха! ха!

Она молча встала, быстро спустилась по склону, усеянному галькой, и, рискуя поскользнуться, упасть в ямы, скрытые под водорослями, рискуя сломать ногу или руку, ушла от него почти бегом, ступая по лужам, ничего не видя вокруг, ушла туда, к другому сыну.

Увидев ее, Жан крикнул:

— И ты, мама, наконец решилась?

Не отвечая, она схватила его за руку, как бы говоря:» Спаси меня, защити меня!»

Он заметил ее волнение и удивился:

— Как ты бледна! Что с тобой?

Она пролепетала:

— Я чуть не упала, мне страшно среди этих скал.

Тогда Жан повел ее, поддерживая, объясняя, как надо ловить креветок, стараясь заинтересовать ее. Но так как она не слушала, а его мучило желание поделиться с кем-нибудь своей, тайной, то он увлек ее подальше и тихо проговорил:

— Угадай, что я сделал?

— Не знаю... не знаю.

— Угадай.

— Я не... я не знаю.

— Так вот, я просил госпожу Роземильи быть моей женой.

Она не ответила; мысли у нее путались, она была в таком отчаянии, что едва понимала, что Жан говорит. Она переспросила:

— Твоей женой?

— Да. Я хорошо сделал? Она очаровательна, верно?

— Да... очаровательна... ты хорошо сделал.

— Значит, ты одобряешь?

— Да... одобряю.

— Как ты это странно говоришь Можно подумать, что... что... ты недовольна.

— Да нет же... я... довольна.

— Правда?

— Правда.

Как бы в подтверждение своих слов она порывисто обняла сына и стала осыпать его лицо горячими материнскими поцелуями.

Когда она вытерла полные слез глаза, она увидела, что вдали, на пляже, кто-то лежит ничком, неподвижно, как труп, уткнувшись лицом в гальку; то был другой ее сын, Пьер, осаждаемый горькими мыслями.

Тогда она увела своего маленького Жана еще дальше, к самой воде, и они долго еще говорили о его женитьбе, в которой ее истерзанное сердце искало утешения.

Начавшийся прилив заставил их отступить и присоединиться к остальным; все вместе поднялись на берег, по дороге разбудив Пьера, притворившегося спящим. Потом долго сидели за обедом, обильно поливая каждое блюдо вином.

VII

В экипаже, на обратном пути, все мужчины, кроме Жана, дремали. Босир и Ролан каждые пять минут валились на плечо соседа, тот отталкивал их, и тогда они выпрямлялись, переставали храпеть и, приоткрыв глаза, бормотали:» Хороша погодка«, — после чего тотчас же клонились на другую сторону.

При въезде в Гавр они спали таким глубоким сном, что растолкать их стоило немалых трудов, а Босир даже отказался идти к Жану, где их ожидал чай. Пришлось завезти его домой.

Молодому адвокату предстояло в первый раз провести ночь на новой квартире; бурная, почти мальчишеская радость охватила его при мысли, что именно сегодня вечером покажет он невесте квартиру, в которой она скоро поселится.

Служанку отпустили — г-жа Ролан сказала, что сама вскипятит воду и подаст чай: опасаясь пожаров, она не любила, чтобы прислуга поздно засиживалась.

Кроме нее, Жана и рабочих, никого еще не пускали в новую» квартиру. Тем сильнее будет общее изумление, когда увидят, как все здесь красиво.

Жан попросил гостей подождать в передней. Он хотел зажечь свечи и лампы и оставил в потемках г-жу Роземильи, отца и брата; потом распахнул двери настежь и крикнул:

— Входите!

Стеклянная галерея, освещенная люстрой и цветными фонариками, скрытыми среди пальм, фикусов и цветов, походила на театральную декорацию. Все были поражены. Ролан, в восторге от такой роскоши, пробормотал: «Ах, дьявол! — и чуть не захлопал в ладоши, словно смотрел феерию.

Затем они прошли в первую гостиную, маленькую, обтянутую материей цвета потемневшего золота, такой же, как обивка мебели. Большой, очень просторный кабинет, выдержанный в розовато-красных тонах, производил внушительное впечатление.

Жан сел в кресло перед письменным столом, уставленным книгами, и произнес нарочито торжественным тоном:

— Да, сударыня, статьи закона не допускают сомнений, и, поскольку я выразил согласие быть вам полезным, они дают мне полную уверенность, что не пройдет и трех месяцев, как дело, о котором мы сейчас беседовали, получит благоприятное разрешение.

Он посмотрел на г-жу Роземильи. Она заулыбалась, поглядывая на г-жу Ролан, а та взяла ее руку и крепко пожала.

Жан, сияя радостью, подпрыгнул, как школьник, и воскликнул:

— Как хорошо звучит здесь голос! Вот бы где держать защитительную речь.

Он начал декламировать:

— Если бы лишь человеколюбие, лишь естественная потребность сострадать любому несчастью могли побудить вас вынести оправдательный приговор, который мы испрашиваем, то мы, господа присяжные, взывали бы к вашему милосердию, к вашим чувствам отцов и мужей; но закон на нашей стороне, и поэтому мы ставим перед вами только вопрос о законности.

Пьер разглядывал квартиру, которая могла бы принадлежать ему, и злился на ребячества Жана, находя брата непозволительно глупым и бездарным.

Госпожа Ролан открыла дверь направо.

— Вот спальня, — сказала она.

В убранство этой комнаты она вложила всю свою материнскую любовь. Обивка стен и мебели была из руанского кретона, под старинное нормандское полотно. Узор в стиле Людовика XV — пастушка в медальоне, увенчанном двумя целующимися голубками, — придавал стенам, занавесям, пологу, кровати, креслам оттенок изящной и милой сельской простоты.

— Это просто очаровательно, — сказала г-жа Роземильи без улыбки, проникновенным голосом, входя в спальню.

— Вам нравится? — спросил Жан.

— Очень.

— Если бы вы знали, как я рад.

Они взглянули друг другу в глаза нежно и доверчиво.

Все же она испытывала некоторое стеснение, неловкость в этой комнате, своей будущей спальне. Еще с порога она заметила очень широкую кровать, настоящее супружеское ложе, и поняла, что г-жа Ролан предвидела скорую женитьбу сына и желала этого; эта материнская предусмотрительность обрадовала г-жу Роземильи, ибо говорила о том, что ее ждут в семье Жана.

Когда все вернулись в гостиную, Жан открыл левую дверь, и взорам открылась круглая столовая с тремя окнами, обставленная в японском стиле. Мать и сын отделяли эту комнату со всей фантазией, на которую были способны: бамбуковая мебель, китайские болванчики, вазы, шелковые драпировки, затканые золотыми блестками, шторы из бисера, прозрачного, как капли воды, веера, прибитые на стенах поверх вышивок, ширмочки, сабли, маски, цапли из настоящих перьев, всевозможные безделушки из фарфора, дерева, папье-маше, слоновой кости, перламутра, бронзы — это пышное убранство отдавало той аляповатой претенциозностью, которой неискусные руки и неопытный глаз наделяют все то, что требует наибольшего умения, вкуса и художественного такта. Тем не менее именно этой комнатой восхищались больше всего. Только Пьер сделал несколько едких иронических замечаний, очень обидевших его брата.

На столе пирамидами возвышались фрукты, а торты высились, словно монументы. Есть никому не хотелось, гости посасывали фрукты и лениво грызли печенье. Через час г-жа Роземильи стала собираться домой.

Было решено, что Ролан-отец проводит ее до дому, а г-жа Ролан останется, чтобы, за отсутствием служанки, осмотреть квартиру материнским оком и убедиться, что для сына приготовлено все, что нужно.

— Вернуться за тобой? — спросил Ролан.

Она помедлила, потом сказала:

— Нет, старичок, ложись спать. Я приду с Пьером.

Как только г-жа Роземильи и Ролан ушли, она погасила свечи, заперла в буфет торты, сахар и ликеры и отдала ключ Жану, потом прошла в спальню, открыла постель и проверила, налита ли в графин свежая вода и плотно ли закрыто окно.

Братья остались одни в маленькой гостиной. Жан все еще чувствовал себя уязвленным неодобрительными замечаниями о его вкусе, а Пьера все сильнее душила злоба оттого, что эта квартира досталась брату. Они сидели друг против друга и молча курили. Вдруг Пьер поднялся.

— Сегодня, — сказал он, — у вдовы был изрядно помятый вид. Пикники ей не на пользу.

Жаном внезапно овладел тот яростный гнев, который вспыхивает в добродушных людях, когда оскорбляют их чувства.

Задышавшись от бешенства, он проговорил с усилием:

— Я запрещаю тебе произносить слово «вдова», когда ты говоришь о г-же Роземильи!

Пьер высокомерно взглянул на него.

— Ты, кажется, приказываешь мне? Уж не сошел ли ты с ума?

Жан вскочил с кресла.

— Я не сошел с ума, но мне надоело твое обращение со мной!

Пьер злобно рассмеялся.

— С тобой? Уж не составляешь ли ты одно целое с госпожой Роземильи?

— Да будет тебе известно, что госпожа Роземильи будет моей женой.

Пьер засмеялся еще громче.

— Ха! ха! Отлично. Теперь понятно, почему я не должен больше называть ее» вдовой «. Однако у тебя странная манера объявлять о своей женитьбе.

— Я запрещаю тебе издеваться... понял? Запрещаю!..

Жан выкрикнул эти слова срывающимся голосом, весь бледный, вплотную подойдя к брату, доведенный до исступления насмешками над женщиной, которую он любил и избрал себе в жены.

Но Пьер тоже вдруг вышел из себя. Накопившийся в нем за последний месяц бессильный гнев, горькая обида, долго обуздываемое возмущение, молчаливое отчаянье — все это бросилось ему в голову и оглушило его, как апоплексический удар.

— Как ты смеешь?.. Как ты смеешь?.. А я приказываю тебе замолчать, слышишь, приказываю!

Жан, пораженный запальчивостью брата, умолк на мгновение; в своем затуманенном бешенством уме он подыскивал слово, выражение, мысль, которые ранили бы брата в самое сердце.

Силясь овладеть собой, чтобы больней ударить, и замедляя речь для большей язвительности, он продолжал:

— Я уже давно заметил, что ты мне завидуешь, — с того самого дня, как ты начал говорить» вдова «. Ты прекрасно понимал, что мне это неприятно.

Пьер разразился своим обычным резким и презрительным смехом.

— Ха! ха! бог ты мой! Завидую тебе!.. Я?.. я?.. я?.. Да чему же, чему! Твоей наружности, что ли? Или твоему уму?..

Но Жан ясно чувствовал, что задел больное место брата.

— Да, ты завидуешь мне, завидуешь с самого детства; и ты пришел в ярость, когда увидел, что эта женщина предпочитает меня, а тебя и знать не хочет.

Пьер, не помня себя от обиды и злости, едва мог выговорить:

— Я... я... завидую тебе? Из-за этой дуры, этой куклы, этой откормленной утки?..

Жан, видя, что его удары попадают в цель, продолжал:

— А помнишь тот день, когда ты старался грести лучше меня на» Жемчужине «? А все, что ты говоришь в ее присутствии, чтобы порисоваться перед нею? Да ведь ты лопнуть готов от зависти! А когда я получил наследство, ты просто взбесился, ты возненавидел меня, ты выказываешь это мне на все лады, ты всем отравляешь жизнь, ты только и делаешь, что изливаешь желчь, которая тебя душит!

Пьер сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на брата и не схватить его за горло.

— Замолчи! Постыдился бы говорить о своем наследстве!

Жан воскликнул:

— Да ведь зависть так и сочится из тебя! Ты слова не можешь сказать ни отцу, ни матери, чтобы она не прорвалась наружу. Ты делаешь вид, что презираешь меня, а сам завидуешь! Ты придираешься ко всем, потому что завидуешь! А теперь, когда я стал богат, ты уж не в силах сдерживаться, ты брызжешь ядом, ты мучаешь мать, точно это ее вина!..

Пьер попятился к камину; рот его был полуоткрыт, глаза расширены; им овладело то состояние слепого неистового гнева, в каком человек способен на убийство.

Он повторил тише, задыхаясь:

— Замолчи! Да замолчи же!

— Нет! Я уже давно хочу все тебе высказать. Ты сам дал мне к этому повод — теперь пеняй на себя. Ты знаешь, что я люблю эту женщину, и нарочно высмеиваешь ее предо мной, выводишь меня из себя. Так пеняй на себя. Я обломаю твои змеиные зубы! Я заставлю уважать меня!

— Уважать тебя!

— Да, меня.

— Уважать... тебя... того, кто опозорил всех нас своей жадностью?

— Что ты говоришь? Повтори... повтори!

— Я говорю, что нельзя принимать наследство от постороннего человека, когда сльвешь сыном другого.

Жан замер на месте, не понимая, ошеломленный намеком, боясь угадать его смысл.

— Что такое? Что ты говоришь?.. Повтори!

— Я говорю то, о чем все шепчутся, о чем все сплетничают, — что ты сын того человека, который оставил тебе состояние. Так вот — честный человек не примет денег, позорящих его мать.

— Пьер... Пьер... подумай, что ты говоришь? Ты... ты... как ты можешь повторять такую гнусность?

— Да... я... я... Неужели ты не видишь, что уже целый месяц меня грызет тоска, что я по ночам не смыкаю глаз, а днем прячусь, как зверь, что я уже сам не понимаю, что говорю и что делаю, не знаю, что со мной будет, — в потому что я невыносимо страдаю, потому что я обезумел от стыда и горя, ибо сначала я только догадывался, а теперь знаю.

— Пьер... замолчи... Мама рядом в комнате! Подумай, ведь она может нас услышать... она слышит нас...

Но Пьеру надо было облегчить душу! И он рассказал обо всем — о своих подозрениях, догадках, внутренней борьбе, о том, как он в конце концов уверился, и о случае с портретом, исчезнувшим во второй раз.

Он говорил короткими, отрывистыми, почти бессвязными фразами, как в горячечном бреду.

Он, казалось, забыл о Жане и о том, что мать находится рядом, в соседней комнате. Он говорил так, как будто его не слушал никто, говорил, потому что должен был говорить, потому что слишком исстрадался, слишком долго зажимал свою рану. А она все увеличивалась, воспалялась, росла, как опухоль, и нарыв теперь прорвался, всех обрызгав гноем. По своей привычке Пьер шагал из угла в угол; глядя прямо перед собой, в отчаянии ломая руки, подавляя душившие его рыдания, горько, с ненавистью упрекая самого себя, он говорил, словно исповедуясь в своем несчастье и в несчастье своих близких, словно бросая свое горе в невидимое и глухое пространство, где замирали его слова.

Жан, пораженный, уже готовый верить обвинению брата, прислонился спиной к двери, за которой, как он догадывался, их слушала мать.

Уйти она не могла, — другого выхода из спальни не было; в гостиную она не вышла — значит, не решилась.

Вдруг Пьер топнул ногой и крикнул:

— Какая же я скотина, что рассказал тебе все это!

И он с непокрытой головой выбежал на лестницу.

Громкий стук захлопнувшейся входной двери вывел Жана из оцепенения. Прошло всего несколько мгновений, более долгих, чем часы, во время которых ум его пребывал в полном бездействии; он сознавал, что сейчас надо будет думать, что-то делать, но выжидал, отказываясь понимать, не желая ни знать, ни помнить — из боязни, из малодушия, из трусости. Он принадлежал к числу людей нерешительных, всегда откладывающих дела на завтра, и, когда надо было на что-нибудь решиться тотчас же, он инстинктивно старался выиграть хотя бы несколько минут. Глубокое безмолвие, окружавшее его теперь, после выкриков Пьера, это внезапное безмолвие стен и мебели в ярком свете шести свечей и двух ламп вдруг испугало его так сильно, что ему тоже захотелось убежать.

Тогда он стряхнул с себя оцепенение, сковавшее, ему ум и сердце, и попытался обдумать случившееся.

Никогда в жизни он не встречал никаких препятствий. Он был из тех людей, которые плывут по течению. Он прилежно учился, чтобы избежать наказаний, и усердно изучал право, потому что жизнь его протекала спокойно. Все на свете казалось ему вполне естественным, и ничто особенно не останавливало его внимания. Он по природе своей любил порядок, рассудительность, покой, так как ум у него был бесхитростный; разразившаяся катастрофа застала его врасплох, и он чувствовал себя точно человек, упавший в воду и не умеющий плавать.

Сначала он пробовал усомниться. Уж не солгал ли ему брат от злости и зависти?

Но мог ли Пьер дойти до такой низости и сказать подобную вещь о матери, если бы сам не был доведен до отчаяния? И потом в ушах Жана, в его глазах, в каждом нерве, казалось, во всем теле запечатлелись некоторые слова, горестные стоны, звук голоса и жесты Пьера, полные такого страдания, что они были неопровержимы и неоспоримы, как сама истина.

Жан был слишком подавлен, чтобы сделать хоть шаг, принять хоть какие-нибудь решения. Отчаяние все сильнее овладевало им, и он чувствовал, что за дверью стоит его мать, которая все слышала, и ждет.

Что она делает? Ни единое движение, ни единый шорох, ни единый вздох не обнаруживал присутствия живого существа за этой стеной. Не убежала ли она? Но как? А если убежала — значит, выпрыгнула в окно!

Его охватил страх, такой внезапный, такой непреодолимый, что он скорее высадил, чем открыл дверь, и ворвался в комнату.

Она казалась пустой. Ее освещала единственная свеча на комод.

Жан бросился к окну; оно было затворено, ставни закрыты. Обернувшись, он обвел испуганным взглядом все темные углы, и вдруг заметил, что полог кровати задернут. Он подбежал и отодвинул его. Мать лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку, которую она прижимала к ушам судорожно сведенными руками, чтобы больше не слышать. Сначала он подумал, что она задохнулась. Обхватив мать за плечи, он повернул ее, но она не выпускала подушки, прятала в нее лицо и кусала, чтобы не закричать.

Прикосновение к этому неестественно напряженному телу, к судорожно сжатым рукам сказало ему о ее невыразимых муках. Сила отчаяния, с какой ее пальцы и зубы вцепились в подушку, которой она закрывала рот, глаза и уши, чтобы сын не видел ее, не говорил с ней, потрясла его, и он понял, до какой степени может дойти страдание. И его сердце, его бесхитрое сердце разрывалось от жалости. Он не был судьей, даже милосердным судьей, он был только слабый человек и любящий, сын. Он уже не помнил ничего из слов брата, он не рассуждал, не спорил, — он только провел обеими руками по неподвижному телу матери и, не имея сил оторвать ее лицо от подушки, крикнул, целуя ее платье:

— Мама, мама, бедная моя мама, посмотри на меня!

Ее можно было принять за мертвую, если бы не едва уловимый трепет, который пробежал по ее членам, словно дрожание натянутой струны. Жан повторял:

— Мама, мама, выслушай меня. Это неправда. Я знаю, что это неправда.

Спазмы сдавили ей горло, ей не хватало воздуха; и вдруг она разрыдалась. Тогда судорожное напряжение ослабело, сведенные мускулы обмякли, пальцы раскрылись, выпустили подушку; и он открыл ее лицо.

Она была очень бледная, совсем белая, и из-под опущенных век катились слезы. Он, обняв ее, стал осторожно целовать ее глаза долгими, горестными поцелуями, чувствуя на губах ее слезы, и все повторял:

— Мама, дорогая моя, я знаю, что это неправда. Не плачь, я знаю! Это неправда!

Она приподнялась, села, взглянула на него и с тем мужеством, какое в иных случаях необходимо, чтобы убить себя, сказала:

— Нет, это правда, дитя мое.

Они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. С минуту она еще задышалась, вытягивала шею, запрокидывала голову, чтобы легче было дышать, потом снова поборолась и продолжала:

— Это правда, дитя мое. К чему лгать? Это правда. Ты не поверил бы мне, если бы я солгала.

Казалось, она сошла с ума. Охваченный ужасом, он упал на колени перед кроватью, шепотом повторяя:

— Молчи, мама, молчи!

Она поднялась с пугающей решимостью и энергией.

— Да мне больше и нечего сказать тебе, дитя мое. Прощай.

И она направилась к двери. Он обхватил ее обеими руками и закричал:

— Что ты делаешь, мама, куда ты?

— Не знаю... откуда мне знать... мне больше нечего делать... ведь я теперь совсем одна...

Она стала вырываться. Он крепко держал ее и только повторял:

— в Мама... мама... мама...

А она, силясь разомкнуть его руки, говорила:

— Нет, нет, теперь я больше тебе не мать, теперь я чужая для тебя, для всех вас, чужая, совсем чужая! Теперь у тебя нет ни отца, ни матери, бедный ты мой... прощай!

Он вдруг понял, что если даст ей уйти, то никогда больше ее не увидит, и, подняв мать на руки, отнес ее в кресло, насильно усадил, потом стал на колени и обхватил ее обеими руками, как кольцом.

— Ты не уйдешь отсюда, мама; я люблю тебя, ты останешься со мной. Останешься навсегда, ты моя, я не отпущу тебя.

Она ответила с глубокой скорбью:

— Нет, бедный мой мальчик, это уже невозможно. Сегодня ты плачешь, а завтра выгонишь меня. Ты тоже не простишь.

Он ответил с таким искренним порывом:» Что ты? я? я? Как мало ты меня знаешь! — на что она вскрикнула, обняла голову сына обеими руками, с силой притянула к себе и стала покрывать его лицо страстными поцелуями: Потом она затихла, прижавшись щекой к его щеке, ощущая сквозь бороду теплую кожу лица, и шепотом на ухо сказала ему:

— Нет, мой малыш. Завтра ты меня уже не простишь. Ты веришь, что это не так, но ты ошибаешься. Ты простил меня сегодня, и твое прощение спасло мне жизнь; но ты не должен больше меня видеть.

Он повторял, сжимая ее в объятиях:

— Мама, не говори этого!

— Нет, это так, мой мальчик! Я должна уйти. Не знаю, куда я пойду, не знаю, что буду делать, что скажу, но так нужно. Я не посмею больше ни взглянуть на тебя, ни поцеловать тебя, понимаешь?

Тогда, в свою очередь, он прошептал ей на ухо:

— Мамочка, ты останешься, потому что я этого хочу, ты мне необходима. И сейчас же дай слово, что будешь слушаться меня.

— Нет, дитя мое.

— Мама, так нужно, слышишь? Так нужно.

— Нет, дитя мое, это невозможно. Это значило бы создать ад для всех нас. За этот месяц я узнала, что это за пытка. Сейчас ты растроган, но когда это пройдет, когда ты будешь смотреть на меня, как Пьер, когда ты вспомнишь то, что я тебе сказала... Ах!.. Жан, мальчик мой, подумай, ведь я твоя мать!..

— Я не хочу, чтобы ты покидала меня, мама. У меня никого нет, кроме тебя.

— Но подумай, сынок, что мы не сможем больше смотреть друг на друга не краснея, что стыд истерзает меня, что я буду опускать глаза, встречаясь с твоим взглядом.

— Это неправда, мама.

— Нет, нет, это правда! Я хорошо поняла, как боролся твой бедный брат с самого первого дня. Теперь, как только я слышу его шаги в доме, у меня так колотится сердце, что грудь разрывается, а когда я слышу его голос, — я почти теряю сознание. До сих пор у меня еще оставался ты! Теперь у меня нет и тебя. Мой маленький Жан, неужели ты думаешь, что я могу жить бок о бок с вами обоими?

— Да, мама. Я буду так любить тебя, что ты и думать забудешь об этом.

— Разве это возможно?

— Да, возможно.

— Но как я могу не думать об этом, живя бок о бок с тобой и твоим братом? Разве вы сами не будете думать об этом?

— Я не буду, клянусь тебе!

— Ты будешь думать об этом непрестанно. — Нет, клянусь тебе. И знай: если ты уйдешь, я вступлю в армию и дам убить себя.

Она испугалась этой ребяческой угрозы и прижала сына к груди, лаская его со страстной нежностью. Он продолжал:

— Я люблю тебя сильнее, чем ты думаешь, гораздо, гораздо сильнее! Ну, будь же умницей. Попробуй остаться со мной хоть на неделю? Ты обещаешь мне неделю? Неужели ты откажешь мне в этом?

Она положила руки на плечи Жана и слегка отстранила его:

— Дитя мое... постараемся быть спокойными и твердыми. Сначала дай мне сказать. Если хоть раз я услышу из твоих уст то, что я уже месяц слышу от твоего брата, если хоть раз я увижу в твоих глазах то, что я читаю в его глазах, если хоть по одному слову, по одному взгляду я пойму, что стала ненавистна тебе, как и ему... тогда не пройдет и часа, слышишь, и часа... как я уйду навсегда.

— Мама, клянусь тебе...

— Дай мне сказать... За этот месяц я выстрадала все, что только может выстрадать живое существо. С той минуты, как я поняла, что твой брат, другой мой сын, подозревает меня, что он шаг за шагом угадывает истину, каждое мгновение моей жизни превратилось в такую муку, какую никакими словами не описать.

В ее голосе слышалось столько горя, что Жану передалась ее боль, и глаза его наполнились слезами.

Он хотел ее поцеловать, но она оттолкнула его.

— Погоди... слушай... мне еще так много нужно сказать тебе, чтобы ты понял... но ты не поймешь... а между тем... если мне остаться... то нужно... Нет, не могу!..

— Говори, мама, говори.

— Хорошо! По крайней мере, я тебя не обману... Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, да? Так вот для того, чтобы мы могли видеться, разговаривать, встречаться изо дня в день — ведь я иногда не решаюсь открыть дверь, боясь столкнуться с твоим братом, — так вот для этого нужно не то, чтобы ты простил меня, — нет ничего мучительнее прощения, — но чтобы ты не считал меня виноватой перед тобой... Нужно, чтобы ты нашел в себе достаточно сил, вопреки общему мнению, не краснея и не презирая меня, признать, что ты не сын Ролана!.. Я довольно страдала... слишком много страдала и больше не могу, нет, больше не могу! И это не со вчерашнего дня, это началось давно... Тебе никогда не понять этого! Чтобы мы могли жить вместе, чтобы мы могли раскрывать друг другу объятия, мой маленький Жан, надо, чтобы ты понял, что если я и была любовницей твоего отца, то в гораздо большей степени я была его женой, его настоящей женой, что в глубине души я не стыжусь этого, что я ни о чем не жалею и все еще люблю его, хоть он и умер, и всегда буду любить его, что я никого, кроме него, не любила, что в нем была вся моя жизнь, вся радость, вся надежда, все утешение, что он был для меня всем, всем долгие годы! Слушай, мой мальчик: перед богом, который слышит меня, клянусь тебе, что у меня в жизни не было бы ничего, ничего отрадного, если бы я его не встретила, ничего — ни ласки, ни нежности, ни одной из тех минут, о

которых с тоской вспоминаешь под старость! Я всем обязана ему! У меня на свете был только он да вы двое — твой брат и ты. Без вас троих все было бы пусто, темно и пусто, как ночной мрак. Я никогда ничего бы не любила, ничего бы не испытала, ничего бы не пожелала и даже слез не пролила бы, а я много слез пролила, мой маленький Жан. Я только и делаю, что плачу с тех пор, как мы переехали сюда! Я отдалась, ему вся, телом и душой, навсегда, с радостью, и более десяти лет я была его женой, как и он был моим мужем перед богом, создавшим нас друг для друга. А потом я поняла, что он уже меньше меня любит. Он все еще был мил и внимателен, но я уже не была для него всем, как раньше. Наступил конец! Как я плакала... Как убога, как обманчива жизнь!.. Ничто в ней не вечно... И мы переехали сюда, и больше я его уже не видела, он не приехал к нам ни разу... В каждом письме он обещал это!.. Я все ждала его... по так и не увидела больше... а теперь он умер!.. Но он все еще любил нас, потому что подумал о тебе. А я, я буду любить его до последнего моего вздоха, никогда от него не отрекись, и тебя я люблю потому, что ты его сын, я не стыжусь этого перед тобой! Понимаешь? Не стыжусь и никогда стыдиться не буду! Если ты хочешь, чтобы я осталась, надо, чтобы ты признал себя его сыном, чтобы мы иногда говорили о нем с тобою, чтобы ты постарался немного полюбить его и чтобы мы думали о нем, когда будем встречаться глазами. Если ты не хочешь, если не можешь принять это условие, прощай, мой мальчик, нам невозможно оставаться вместе. Я сделаю так, как ты решишь.

Жан тихо ответил:

— Останься, мама.

Она стиснула его в объятиях и опять заплакала; потом, прижавшись щекой к его щеке, спросила:

— Да, но как же мы будем жить с Пьером?

Жан прошептал:

— Придумаем что-нибудь. Ты не можешь больше жить бок о бок с ним.

При воспоминании о старшем сыне она вся съежилась от страха.

— Нет, не могу, нет, нет!

И, бросившись на грудь Жану, воскликнула в отчаянии:

— Спаси меня от него, мой мальчик, спаси меня, сделай что-нибудь, не знаю что... придумай... спаси меня!

— Да, мама, я придумаю.

— Сейчас же... нужно сейчас же... не покидай меня! Я так боюсь его... так боюсь!

— Хорошо, я придумаю. Обещаю тебе.

— Только скорей, скорей! Ты не знаешь, что творится со мной, когда я вижу его.

Потом она чуть слышно прошептала ему на ухо:

— Оставь меня здесь, у тебя.

Он помялся, задумался и понял своим трезвым умом всю опасность такого шага.

Но ему долго пришлось доказывать, спорить и преодолевать вескими доводами ее отчаяние и ужас.

— Хоть на сегодня, — говорила она, — хоть только на эту ночь! Завтра ты дашь знать Ролану, что мне стало дурно.

— Это невозможно, ведь Пьер вернулся домой. Соберись с силами. Завтра я все устрою. В девять часов я уже буду у тебя. Ну, надень шляпу. Я провожу тебя.

— Я сделаю все, как ты скажешь, — прошептала она благодарно и робко, с детской доверчивостью.

Она хотела встать; но испытанное ею потрясение было слишком сильно, и она не могла сделать и шагу.

Тогда он заставил ее выпить сахарной воды, понюхать нашатырного спирта, натер ей виски уксусом. Она подчинялась ему, вся разбитая, но чувствуя облегчение, как после родов.

Наконец она оправилась настолько, что могла идти; она взяла его под руку. Когда они проходили мимо городской ратуши, пробило три часа.

Проводив ее до дому, он поцеловал ее и сказал:

— До свидания, мама, не падай духом.

Она крадучись поднялась по лестнице, вошла в спальню, быстро разделась и скользнула в постель рядом с храпящим Роланом, — так, бывало, в дни молодости возвращалась она с любовного свидания.

В доме не спал один Пьер, и он слышал, как она вернулась.

VIII

Придя домой, Жан в изнеможении опустился на диван; горе и заботы, вселявшие в его брата желание убежать, скрыться, подобно затравленному зверю, совсем по-другому действовали на апатичную натуру Жана. Он чувствовал себя так, словно его разбил паралич, — не в силах был ни двинуться, ни даже лечь в постель; он ослаб телом, ум его был подавлен и растерян. Он не был, как Пьер, оскорблен в самом святом своем чувстве — в сыновней любви; его сокровенная гордость — защита благородного сердца — не страдала; он был раздавлен ударом судьбы, грозившим погубить его самые заветные мечты.

Когда волнение наконец улеглось, когда мысль прояснилась, как отстаивается взбаламученная вода, он попытался разобраться в том, что ему стало известно. Узнай он тайну своего рождения другим путем, он, конечно, возмутился бы, испытал бы глубокое горе; но после ссоры с братом, после этого грубого и жестокого разоблачения, после мучительной сцены с матерью, ее страстной исповеди он уже не мог возмущаться. Потрясение, испытанное его чувствительным сердцем, было так велико, что порыв неукротимой нежности смел все предрассудки, все священные правила человеческой морали. Впрочем, Жан и не был способен к сопротивлению. Он не любил борьбы, тем более с самим собою; поэтому он смирился, а в силу врожденной любви к покою, к тихой и мирной жизни он тотчас начал думать о той опасности, которая грозила его спокойствию и спокойствию его семьи. Он явственно чувствовал эту опасность и, чтобы предотвратить ее, решил

напрячь все свои силы и всю свою энергию. Он хотел немедленно, завтра же, найти выход: как все слабовольные люди, не способные на упорное, настойчивое желание, он иногда испытывал непреодолимую потребность, составляющую единственную силу слабых людей, немедля принимать решения. К тому же его ум юриста, привыкший разбирать и изучать сложные положения, обстоятельства интимного свойства в семьях, где мирный уклад жизни нарушен, тотчас же предусмотрел ближайшие последствия душевного состояния брата. Он невольно рассматривал эти последствия с профессиональной точки зрения, — словно устанавливал будущие взаимоотношения своих клиентов после пережитой ими моральной катастрофы. Разумеется, постоянное общение с Пьером для него впредь невозможно, и ему будет легко избежать этого, живя в своей квартире. Но и его мать не должна больше оставаться под одной кровлей со старшим сыном.

Он долго размышлял, не двигаясь с места, откинувшись на подушки дивана, изобретая и отвергая различные планы, но не находил ничего, что казалось бы ему приемлемым.

Неожиданно у него мелькнула мысль: «Оставил бы у себя честный человек то состояние, которое я получив?»

Сначала он ответил себе: «Нет!»— и решил отдать его бедным. Тяжело, но что делать! Он продаст свою обстановку и будет работать, как всякий другой, как работают все начинающие. Это мужественное и трудное решение приободрило его, он встал, подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Он был беден и снова станет бедным. Ну что ж, он не умрет от этого. Он смотрел на газовый рожок, горевший против него, на той стороне улицы. Но вот по тротуару прошла какая-то женщина, и он вспомнил о г-же Роземильи; сердце у него замерло от той острой боли, какую причиняет нам пришедшая на ум жестокая мысль. Все пагубные последствия такого решения сразу открылись ему. Он должен будет отказаться от женитьбы на молодой вдове, отказаться от счастья, отказаться от всего. Но может ли он поступить так, когда он уже связан с ней? Она согласилась стать его женой, зная, что он богат. Будь он беден, она все равно согласилась бы, но вправе ли он требовать, вынуждать ее к такой жертве? Не лучше ли сохранить деньги, как вверенное ему имущество, которое он впоследствии вернет бедным? И в душе Жана, где эгоизм скрывался под личиной нравственности, все затаенные устремления вступили в ожесточенную борьбу между собой; первоначальные упреки совести отступали перед хитроумными доводами, опять появлялись и ступшеывались вновь. Он опять сел на диван и стал искать такой довод, такой убедительный предлог, который рассеял бы все сомнения и убедил бы его природную честность. Раз двадцать уже он задавал себе вопрос: «Если я сын этого человека, если я это знаю и признаю, то не естественно ли принять от него наследство?» Но этот довод не мог заглушить слова «нет», которое нашептывала ему совесть. Вдруг он подумал: «Но если я не сын того человека, кого считал до сих пор своим отцом, то я не должен больше ничего принимать от него ни при его жизни, ни после его смерти. Это было бы неблагородно и несправедливо. Это значило бы ограбить брата». Эта новая точка зрения успокоила его, облегчила совесть, и он вернулся к окну: «Да, — говорил он себе, — я должен отказаться от наследства Ролана и оставить его целиком Пьеру, так как я не сын его отца. Это справедливо. Но тогда справедливо, чтобы я оставил себе деньги моего отца».

Таким образом, признав себя не вправе воспользоваться состоянием Ролана и решив полностью отказаться от этого наследства, он согласился и примирился с тем, чтобы оставить себе состояние Марешаля, ибо, отвергнув и то и другое, он обрек бы себя на полную нищету.

Уладив это щекотливое дело, он обратился к вопросу о пребывании Пьера в семье. Как удалить брата? Он уже отчаялся было найти какое-нибудь практическое решение, как вдруг гудок входившего в порт парохода словно подсказал ему ответ, подав ему новую мысль.

Тогда он, не раздеваясь, растянулся на кровати и в раздумье пролежал до утра.

В девятом часу он вышел из дому, чтобы убедиться, осуществим ли его план. Потом, предприняв коекакие шаги и сделав несколько визитов, он отправился в родительский дом. Мать ожидала его, запершись в спальне.

— Если бы ты не пришел, — сказала она, '«я никогда не посмела бы сойти вниз.

Тут раздался голос Ролана, кричавшего с лестницы:

— Что же, черт побери, мы сегодня совсем есть не будем?

Ему не ответили, и он заорал:

— Жозефина, где вас нелегкая носит? Что вы делаете?

Из недр подвала донесся голос служанки:

— Я здесь, сударь, что угодно?

— Где хозяйка?

— Хозяйка наверху с господином Жаном.

Здрав голову, Ролан прорычал:

— Луиза!

Госпожа Ролан приоткрыла дверь и ответила:

— Что тебе, дружок?

— Завтракать пора, черт побери!

— Идем, дружок.

И она спустилась вниз вместе с Жаном.

Ролан, увидев сына, воскликнул:

— А ты откуда? Уже соскучился на новой квартире?

— Нет, отец, мне просто нужно было поговорить с мамой.

Жан подошел, поздоровался и от отеческого рукопожатия старика внезапно почувствовал щемящую тоску, тоску разлуки и безвозвратного прощания.

Госпожа Ролан спросила:

— Пьер не пришел?

Ролан пожал плечами.

— Нет еще. Да он постоянно опаздывает. Начнем без него.

Она обернулась к Жану:

— Ты бы позвал его; он обижается, когда его не ждут.

— Хорошо, мама, я пойду.

Жан вышел. Он поднялся по лестнице с лихорадочной решимостью малодушного человека, идущего на бой.

Он постучал в дверь, и Пьер ответил:

— Войдите.

Жан вошел. Пьер писал, склонившись над столом.

— Здравствуй, — сказал Жан.

Пьер встал:

— Здравствуй.

И они обменялись рукопожатием, как будто ничего не произошло.

— Ты разве не спустишься к завтраку?

— Я... дело в том... что я очень занят.

Голос старшего брата дрожал, и его тревожный взор, казалось, спрашивал у младшего, как поступить.

— Тебя ждут.

— Да?.. А мама внизу?

— Внизу. Она и послала меня за тобой.

— Да?.. Ну тогда... пойдём.

Перед дверью столовой он остановился, не решаясь войти первым, потом рывком открыл дверь и увидел отца и мать друг против друга за столом.

Сначала он подошел к матери, не поднимая глаз, не произнося ни слова, и, наклонившись, подставил ей лоб для поцелуя, как делал это с некоторых пор вместо того, чтобы самому поцеловать ее, как бывало, в обе щеки. Он догадался, что ее губы приблизились к его лицу, но не ощутил их прикосновения и с бьющимся сердцем выпрямился после этой мнимой ласки.

Он спрашивал себя:» О чем они говорили после моего ухода?»

Жан нежно повторял» мама «, » мамочка «, ухаживал за ней, передавал ей кушанья, наполнял стакан. Пьер понял, что они плакали вместе, но не мог проникнуть в их мысли. Осуждал ли Жан свою мать, считал ли брата негодяем?

И все упреки, которые он делал себе за то, что открыл ужасную тайну, снова стали осаждать его, сдавливая ему горло, зажимая рот, не давая ни есть, ни говорить.

Теперь им владело страстное желание — бежать, покинуть этот дом, который стал ему чужим, бежать от этих людей, которых связывали с ним лишь едва уловимые нити. И ему хотелось уехать тотчас же, все равно куда, так как он чувствовал, что все кончено, что он не может больше оставаться с ними, что он по-прежнему невольно мучил бы их уже одним своим присутствием и что они обрекли бы его на непрестанную, невыносимую пытку.

Жан разговаривал с Роланом, рассказывал что-то. Пьер пропускал мимо ушей его слова и не вникал в их смысл. Но ему почудилась какая-то нарочитость в голосе брата, и он наконец заставил себя прислушаться.

Жан говорил:

— Это будет, по-видимому, самое красивое судно во всем флоте. Водоизмещением в шесть тысяч пятьсот тонн Оно пойдет в первое плаванье через месяц.

Ролан удивлялся:

— Уже! А я думал, что его этим летом еще не спустят на воду.

— Работы ускорили, чтобы уйти в первый рейс еще до осени. Сегодня утром я заходил к доктору Компании и беседовал с одним из директоров.

— А-а! С кем же?

— С господином Маршаном, личным другом председателя правления.

— Вот как, ты с ним знаком?

— Да. Кроме того, у меня была к нему небольшая просьба.

— Ага! Значит, ты смог бы устроить, чтобы я подробно осмотрел «Лотарингию», как только она войдет в порт?

— Конечно, ничего нет легче.

Жан явно мялся, подыскивая слова, не зная, как перейти к дальнейшему. Он продолжал:

— Надо сказать, что жизнь, которую ведут на этих океанских пароходах, не лишена приятности. Больше половины времени проводят на суше в двух великолепных городах — Нью-Йорке и Гавре, остальное же время — море, среди очень милых людей. Можно даже заводить там знакомства среди пассажиров, весьма интересные и очень полезные для будущего, да, да, очень полезные. Подумать только, что капитан, экономя на угле, может заработать двадцать пять тысяч франков в год, если не больше...

Ролан произнес: «Здорово!» — и присвистнул, что свидетельствовало о глубоком его уважении к сумме и к капитану.

Жан продолжал:

— Судовой комиссар получает около десяти тысяч жалованья, а врач до пяти тысяч, не считая квартиры, стола, освещения, отопления, услуг и так далее и так далее. В общей сложности, по крайней мере, тысяч десять. Весьма и весьма недурно!

Пьер поднял голову, встретился с братом глазами — и понял.

Немного погодя он спросил:

— А очень трудно получить место врача на океанском пароходе?

— И да и нет. Все зависит от обстоятельств и от протекции.

Наступило длительное молчание, потом Пьер продолжал:

Так «Лотарингия» уходит в будущем месяце?

— Да, седьмого числа.

И снова наступило молчание.

Пьер размышлял. Конечно, все разрешилось бы само собой, если бы он уехал врачом на этом пароходе. А что будет дальше — покажет время: он может и бросить эту службу. Пока же он будет зарабатывать себе на жизнь, не одоляясь у родителей. Позавчера ему пришлось продать свои часы, теперь он уже не попросит денег у матери! Значит, у него не оставалось никакого выхода, кроме этого, никакого средства есть другой хлеб, кроме хлеба этого дома, где он не мог больше жить, никакой возможности спать в другой постели, под другой кровлей. И он сказал нерешительно:

— Если бы это было возможно, я охотно уехал бы на «Лотарингии».

Жан спросил:

— Что же тут невозможного?

— Я никого не знаю в Океанском пароходстве.

Ролан недоумевал:

— А все твои великие планы, твоя карьера? Как же с ними?

Пьер негромко ответил:

— Иногда нужно идти на жертвы и отказываться от самых заветных надежд. Впрочем, это только начало, только средство сколотить несколько тысяч франков, чтобы затем устроиться.

Отец тотчас же согласился с его доводами:

— Это верно. За два года ты сбережешь шесть-семь тысяч франков, и, если их хорошо поместить, ты можешь далеко пойти. Как ты думаешь, Луиза?

Она тихо, чуть слышно ответила:

— Я думаю, что Пьер прав.

Ролан воскликнул:

— Ну, так я поговорю об этом с господином Пуленом, я с ним хорошо знаком! Он — судья в коммерческом суде и ведет дела Компании. Кроме того, я знаю еще господина Леньяна, судовладельца, который дружит с одним из вице-председателей.

Жан спросил брата:

— Если хочешь, я сегодня же позондирую почву у господина Маршана?

— Пожалуйста.

Подумав немного, Пьер продолжал:

— Может быть, лучше всего будет написать моим бывшим учителям в Медицинской школе; они были ко мне очень расположены. На эти суда нередко попадают круглые невежды.

Благоприятные отзывы профессоров Ма-Русселя, Ремюзю, Флаша и Боррикеля решат дело быстрее всяких сомнительных рекомендаций. Достаточно будет предъявить эти письма правлению через твоего приятеля, господина Маршана.

Жан горячо одобрил это:

— Блестящая, просто блестящая мысль!

И он уже улыбался, успокоенный, почти довольный, уверенный в успехе; долго огорчаться было не в его характере.

— Напиши им сегодня же, — сказал он.

— Непременно... Сейчас же этим займусь. Я сегодня не буду пить кофе, у меня что-то нервы разгулялись.

Он встал и вышел. Жан повернулся к матери:

— А ты, мама, что делаешь сегодня?

— Право, не знаю... Ничего...

— Не хочешь ли зайти со мной к госпоже Роземили?

— Да... хочу... да...

— Ты же знаешь... я сегодня непременно должен быть у нее.

— Да... да... верно.

— Почему непременно? — спросил Ролан, по обыкновению, не понимая того, что говорилось в его присутствии.

— Потому что я обещал.

— Ага, вот что. Тогда другое дело.

И он принялся набивать трубку, а мать и сын поднялись наверх, чтобы надеть шляпы.

Когда они очутились на улице, Жан предложил:

— Возьми меня под руку, мама.

Раньше он никогда этого не делал: у них была привычка идти рядом. Но она согласилась и оперлась на его руку.

Некоторое время они шли молча. Потом он сказал:

— Видишь, Пьер охотно согласился уехать.

Она прошептала:

— Бедный мальчик!

— Почему бедный? Он отлично устроится на «Лотарингии».

— Да... знаю, но я думаю о другом...

Она молчала, опустив голову, идя в ногу с сыном в глубокой задумчивости; потом промолвила тем особенным тоном, каким подводят итог долгой и тайной работе мысли:

— Какая мерзость — жизнь! Если когда-нибудь и выпадет тебе на долю немного счастья, то насладиться им — грешно, и после за него расплачиваешься дорогой ценой.

Он Прошептал чуть слышно:

— Не надо больше об этом, мама.

— Разве это мыслимо? Я только об этом и думаю.

— Ты забудешь.

Она еще помолчала, потом прибавила, тяжело вздохнув:

— Ах, как бы я могла быть счастлива, если бы вышла замуж за другого человека!

Теперь она чувствовала озлобление против Ролана; она винила в своих грехах, в своем несчастье его уродство, глупость, простоватость, тупоумие, вульгарную внешность. Именно этому, именно заурядности этого человека она обязана тем, что изменила ему, что довела до отчаяния одного из своих сыновей и сделала другому сыну мучительнейшее признание, от которого исходило кровью ее материнское сердце.

Она прошептала:

— Как ужасно для молодой девушки выйти замуж за человека вроде моего мужа!

Жан не отвечал. Он думал о том, кого до сих пор считал своим отцом, и, быть может, смутное представление об убожестве старика, давно уже сложившееся у него, постоянная ирония брата, высокомерное равнодушие посторонних, вплоть до презрительного отношения к Ролану их служанки, уже подготовили его к страшному признанию матери. Ему не так уж трудно было привыкнуть к мысли, что он сын другого отца, и если после вчерашнего потрясения в нем не поднялись негодование и гнев, как того боялась г-жа Ролан, то именно потому, что он уже издавна безотчетно страдал от сознания, что он сын этого простоватого увальня.

Они подошли к дому г-жи Роземильи.

Она жила на дороге в Сент-Адресс, в третьем этаже собственного большого дома. Из окон ее был виден весь рейд Гаврского порта.

Госпожа Ролан вошла первой, и г-жа Роземильи, вместо того чтобы, как обычно, протянуть ей обе руки, раскрыла объятия и поцеловала гостью, ибо догадалась о цели ее посещения.

Мебель в гостиной, обитая тисненым плюшем, всегда стояла под чехлами. На стенах, оклеенных обоями в цветочках, висели четыре гравюры, купленные ее первым мужем, капитаном дальнего плавания. На них были изображены чувствительные сцены из жизни моряков. На первой жена рыбака, стоя на берегу, махала платком, а на горизонте исчезал парус, увозивший ее мужа. На второй та же женщина, на том же берегу, под небом, исполосованным молниями, упав на колени и ломая руки, вглядывалась в даль, в море, где среди неправдоподобно высоких волн тонула лодка ее мужа.

Две другие гравюры изображали аналогичные сцены, но из жизни высшего класса общества. Молодая блондинка мечтает, облокотясь на перила большого отходящего парохода. Полными слез глазами она с тоскою смотрит на уже далекий берег.

Кого покинула она на берегу?

Дальше та же молодая женщина сидит в кресле у открытого окна, выходящего на океан. Она в обмороке. С ее колен соскользнуло на ковер письмо.

Итак, он умер! Какое горе!

Посетителей всегда трогали и восхищали эти немудреные картины, столь поэтичные и печальные. Все сразу было понятно, без объяснений и догадок, и бедных женщин жалели, хотя и нельзя было точно установить, в чем заключалась горе более нарядной из них. Но эта неизвестность даже способствовала игре воображения. Она, наверно, потеряла жениха. С самого порога взор непреодолимо тянулся к этим четырем гравюрам и приковывался к ним, словно замороженный. А если его отводили, он опять возвращался к ним и опять созерцал четыре выражения лица двух женщин, похожих друг на друга, как сестры. От четкого, законченного и тщательного рисунка, изящного, на манер модной картинки, от лакированных рамок исходило ощущение чистоты и аккуратности, которое подчеркивалось и всей остальной обстановкой. Стулья и кресла были выстроены в неизменном порядке — одни вдоль стены, другие у круглого стола. Складки белых, без единого пятнышка занавесок падали так прямо и ровно, что их невольно хотелось измять; ни одной пылинки не было на стеклянном колпаке, под которым золоченые часы в стиле ампир — земной шар, поддерживаемый коленапреклоненным Атласом, — казалось, дозревали, как дыня в теплице.

Госпожа Ролан и г-жа Роземильи, усаживаясь, несколько нарушили обычный строй стульев.

— Вы сегодня не выходили? — спросила г-жа Ролан.

— Нет. Признаться, я еще чувствую себя немного усталой.

И, как бы желая поблагодарить Жана и его мать, она заговорила об удовольствии, полученном ею от прогулки и ловли креветок.

— Знаете, — говорила она, — я съела сегодня своих креветок. Они были восхитительны. Если хотите, мы повторим как-нибудь нашу прогулку.

Жан прервал ее:

— Прежде чем начинать вторую, мы, быть может, закончим первую?

— Как это? Мне кажется, она закончена.

— Сударыня, среди утесов Сен-Жуэна мне тоже кое-что удалось поймать, и я очень хочу унести эту добычу к себе домой.

Она спросила простодушно и чуть лукаво:

— Вы? Что же именно? Что вы там нашли?

— Жену. И мы с мамой пришли спросить вас, не переменяла ли она за ночь своего решения.

Она улыбнулась.

— Нет, сударь, я никогда не меняю своего решения.

Он протянул ей руку, и она быстрым и уверенным движением вложила в нее свою.

— Как можно скорее, не правда ли? — спросил он

— Когда хотите.

— Через шесть недель?

— Я на все согласна. А что скажет на это моя будущая свекровь?

Госпожа Ролан ответила с немного грустной улыбкой:

— Что же мне говорить? Я только благодарна вам за Жана, потому что вы составите его счастье.

— Постараюсь, мама.

Госпожа Роземильи, впервые слегка умилившись, встала, заключила г-жу Ролан в объятия и стала ласкаться к ней, как ребенок; от этого непривычного изъяснения чувств наболевшее сердце бедной женщины забило сильнее. Она не могла бы объяснить свое волнение. Ей было грустно и в то же время радостно. Она потеряла сына, взрослого сына, и получила вместо него взрослую дочь.

Обе женщины снова сели, взялись за руки, с улыбкой глядя друг на друга, и, казалось, забыли о Жане. Потом они заговорили о том, что следовало обдумать и предусмотреть для будущей свадьбы, и когда все было решено и условлено, г-жа Роземильи, как будто случайно вспомнив об одной мелочи, спросила:

— Вы, конечно, посоветовались с господином Роланом?

Краска смущения залила щеки матери и сына. Ответила мать:

— О, это не нужной.

Она замялась, чувствуя, что какое-то объяснение необходимо, и добавила.

— Мы все решаем сами, ничего ему не говоря. Достаточно будет сообщить ему об этом после.

Госпожа Роземильи, несколько не удивившись, улыбнулась, находя это вполне естественным: ведь Ролан отец значил так мало!

Когда г-жа Ролан с сыном опять вышли на улицу, она сказала:

— Не зайти ли нам к тебе? Мне так хочется отдохнуть.

Она чувствовала себя бесприютной, без крова, потому что страшилась собственного жилища.

Они вошли в квартиру Жана. Как только дверь закрылась за нею, г-жа Ролан глубоко вздохнула, словно за этими стенами была в полной безопасности; потом, вместо того чтобы отдохнуть, она принялась отворять шкафы, считать стопки белья, проверять количество носовых платков и носков. Она изменила порядок, разложила вещи по-новому, по своему вкусу; она разделила белье на носильное, постельное и столовое, и когда все полотенца, кальсоны и рубашки были помещены на соответствующие полки, она отступила на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, и сказала:

— Жан, поди-ка посмотри, как теперь красиво.

Он встал и все похвалил, чтобы доставить ей удовольствие.

Когда он снова сел в кресло, она бесшумно подошла к нему сзади и поцеловала его, обняв за шею правой рукой; в то же время она положила на камин какой-то небольшой предмет, завернутый в белую бумагу, который держала в левой руке.

— Что это? — спросил он.

Она не отвечала; по форме рамки он понял, что это.

— Дай! — сказал он.

Но она притворилась, что не слышит, и вернулась к бельевому шкафу. Он встал, быстро взял в руки предательскую реликвию и, пройдя в другой конец комнаты, запер портрет в ящик письменного стола, дважды повернув ключ в замке. Кончиком пальца смахнув, с ресниц набежавшую слезу, г-жа Ролан сказала чуть дрожащим голосом:

— Пойду посмотрю, хорошо ли убирает кухню твоя новая служанка. Сейчас она ушла, и я могу как следует все проверить.

IX

Рекомендательные письма профессоров Ма-Руссея, Ремюзо, Флаш и Боррикеля были написаны в выражениях, самых лестных для их ученика, доктора Ролана; г-н Маршан представил их правлению Океанской компании, где кандидатура Пьера получила поддержку со стороны г-на

Пулена, председателя коммерческого суда, Леньяна, крупного судовладельца, и Мариваля, помощника гаврского мэра и личного друга капитана Босира.

Место врача на «Лотарингии» еще было свободно, и Пьеру в несколько дней удалось получить назначение.

Письмо, уведомившее его об этом, было вручено ему однажды утром Жозефиной, когда он кончил одеваться.

В первую минуту он почувствовал огромное облегчение, словно осужденный на казнь, которому объявляют о смягчении кары; душевная боль сразу притупилась, как только он подумал об отъезде, о спокойной жизни под баюканье морской волны, вечно кочующей, вечно бегущей.

Он жил теперь в отчем доме словно чужой, молчаливо и обособленно.

С того вечера, когда он в порыве гнева открыл брату позорную тайну их семьи, он чувствовал, что его последние связи с родными порвались. Его мучило раскаяние, оттого что он проговорился об этом Жану. Он считал свой поступок отвратительным, подлым, злым, и в то же время это принесло ему облегчение.

Теперь он никогда не встречался глазами с матерью или с братом. Их взоры избегали друг друга, и их глаза приобрели необыкновенную подвижность, научились хитрить, словно противники, не смеющие скрестить оружие. Все время он спрашивал себя: «Что она сказала Жану? Призналась она или отрицала? Что думает брат? Что он думает о ней, обо мне?» Он не мог угадать, и это бесило его. Впрочем, он почти не разговаривал с ними, разве только в присутствии Ролана, чтобы избежать вопросов старика.

Получив письмо, извещавшее о назначении, он в тот же день показал его семье. Отец, склонный радоваться решительно всему, захопал в ладоши. Жан, скрывая ликование, сказал сдержанно:

— Поздравляю тебя от всего сердца, тем более что знаю, как много у тебя было соперников. Назначением ты обязан, конечно, письмам твоих профессоров.

А мать, опустив голову, чуть слышно пролепетала:

— Я очень счастлива, что тебе это удалось.

После завтрака он пошел в контору Компании, чтобы навести всевозможные справки; там он спросил и фамилию врача уходящей на следующий день «Пикардии», чтобы осведомиться у него об условиях своей новой жизни и о тех особенностях, с которыми придется столкнуться.

Так как доктор Пирет находился на борту, Пьер отправился на пароход, где в маленькой каюте был принят молодым человеком с белокурой бородой, похожим на Жана. Беседа их длилась долго.

В гулких недрах гигантского судна слышался неясный непрерывный шум; стук от падения ящиков — с товарами, опускаемых в трюм, смешивался с топотом ног, звуками голосов, со скрипом погрузочных машин, со свистками боцманов, с лязгом цепей лебедок, приводимых в движение хриплым дыханием паровых котлов, от которого содрогался весь огромный корпус судна.

Когда Пьер простился со своим коллегой и опять очутился на улице, тоска вновь охватила его, обволокла, точно морской туман, который примчался с края света и таит в своей бесплотной толще что-то неуловимое и нечистое, как зачумленное дыхание далеких вредоносных стран.

Никогда еще, даже в часы самых страшных мук, Пьер так остро не сознавал, что его затягивает омут отчаяния. Последняя нить была порвана; ничто больше его не удерживало. Когда он

исторгал из сердца все, что связывало его с родными, он еще не испытывал того гнетущего чувства заблудившейся собаки, которое внезапно охватило его теперь.

Это была уже не мучительная нравственная пытка, но ужас бездомного животного, физический страх скитальца, лишенного крова, на которого готовы обрушиться дождь, ветер, бури, все жестокие силы природы. Когда он ступил на пароход, вошел в крошечную каюту, качаемую волнами, вся его плоть, плоть человека, привыкшего всю жизнь спать в неподвижной и спокойной постели, возмутилась против неустойчивости грядущих дней. До сих пор он был защищен крепкой стеной, глубоко врытой в землю, уверенностью в отдыхе на привычном месте, под крышей, которой не страшен напор ветра. Теперь же все то, что не пугает нас в тепле и уюте, за запертыми дверями, превратится для него в опасность, в постоянное страдание.

Уже не будет земли под ногами, а только море, бурное, ревущее, готовое поглотить. Не будет простора, где можно гулять, бродить, блуждать по дорогам, а лишь несколько метров деревянного настила, по которому придется шагать, словно преступнику, среди других арестантов. Не будет больше ни деревьев, ни садов, ни улиц, ни зданий — ничего, кроме воды и облаков. И все время он будет чувствовать, как под ним качается корабль. В непогоду придется прижиматься к стенкам, хвататься за двери, цепляться за край узкой койки, чтобы не упасть на пол. В дни штиля он будет слышать прерывистый храп винта и ощущать ход несущего его корабля — безостановочный, ровный, однообразный до тошноты.

И на эту жизнь каторжника-бродяги он осужден только за то, что мать его отдавалась чьим-то ласкам.

Он шел куда глаза — глядят, изнемогая от безысходной тоски, которая съедает людей, навеки покидающих родину.

Он уже не смотрел с высокомерным пренебрежением, презрительной неприязнью на незнакомых прохожих, теперь, ему хотелось заговорить с ними, сказать им, что он скоро покинет Францию, ему хотелось, чтобы его выслушали и пожалели. Это было унижительное чувство нищего, протягивающего руку, робкое, но неодолимое желание убедиться, что кто-то скорбит об его отъезде.

Он вспомнил о Маровско. Один лишь старый поляк любил его настолько, чтобы искренне огорчиться. Пьер решил тотчас же пойти к нему.

Когда он вошел в аптеку, старик, растиравший порошки в мраморной ступке, встрепенулся и бросил свою работу.

— Вас что-то совсем не видно, — сказал он.

Пьер ответил, что у него было много хлопот, не объяснив, однако, в чем они состояли; потом сел на стул и спросил аптекаря:

— Ну, как дела?

Дела были плохи; конкуренция отчаянная, больных мало, да и то бедняки, — ведь это рабочий квартал. Лекарства покупают только дешевые, и врачи никогда не прописывают тех редких и сложных снадобий, на которых можно нажать пятьсот процентов. В заключение старик сказал:

— Если так продолжится еще месяца три, лавочку придется прикрыть. Я на вас только и рассчитываю, милый доктор, а то давно бы уже стал чистильщиком сапог.

У Пьера сжалось сердце, и он решил, раз уж это неизбежно, нанести удар сразу:

— Я... я больше ничем не могу вам помочь. В начале будущего месяца я покидаю Гавр.

Маровско от волнения даже очки снял.

— Вы... вы... что вы сказали?

— Я сказал, что уезжаю, друг мой.

Старик был потрясен, — рушилась его последняя надежда; и внезапно он возмутился. Он последовал за этим человеком, любил его, доверял ему, а тот вдруг бессовестно покидает его.

Он пробормотал:

— Неужели и вы измените мне?

Пьера тронула преданность старика, и он чуть не обнял его:

— Но я, вам вовсе не изменяю. Мне не удалось устроиться здесь, и я уезжаю врачом на океанском пароходе.

— Ах, господин Пьер! Ведь вы обещали поддержать меня!

— Что поделаешь! Мне самому жить надо. У меня ведь нет ни гроша за душой.

Маровско повторял:

— Нехорошо, нехорошо вы поступаете. Теперь мне остается только умереть с голоду. В мои годы не на что больше надеяться. Нехорошо. Вы бросаете на произвол судьбы несчастного старика, который приехал сюда ради вас. Нехорошо.

Пьер хотел объяснить, возразить, привести свои доводы, доказать, что он не мог поступить иначе, но поляк не слушал его, возмущенный отступничеством друга, и в конце концов сказал, намекая, видимо, на политические события:

— Все вы, французы, таковы, не умеете держать слово.

Тогда Пьер, тоже задетый за живое, встал и ответил несколько высокомерно:

— Вы несправедливы, Маровско. Чтобы решиться на то, что я сделал, нужны были очень веские причины, и вам бы следовало это понять. До свидания. Надеюсь, в следующую нашу встречу вы будете более рассудительны.

И он вышел.

«Итак, — подумал он, — нет никого, кто бы обо мне искренне пожалел».

Мысль его продолжала искать, перебирая всех, кого он знал или знал когда-то, и среди лиц, встававших в его памяти, ему вспомнилась служанка пивной, давшая ему повод заподозрить мать.

Он колебался, так как питал к ней невольную неприязнь, но потом подумал: «В конце концов она оказалась права». И он стал припоминать, как пройти на нужную улицу.

День был праздничный, и в пивной на этот раз было полно народу и табачного дыма. Посетители — лавочники и рабочие — требовали пива, смеялись, кричали, и сам хозяин сбился с ног, перебегая от столика к столику, унося пустые кружки и возвращая их с пеной до краев.

Найдя себе место неподалеку от стойки, Пьер уселся и стал ждать, надеясь, что служанка заметит его и узнает.

Но она пробежала мимо, кокетливо покачиваясь, шурша юбкой, семеня ножками, и ни разу не взглянула на него.

В конце концов он постучал монетой о стол.

Она подбежала:

— Что угодно, сударь?

Она не смотрела на него, поглощенная подсчетом поданных напитков.

— Вот тебе на! — заметил он — Разве так здороваются с друзьями?

Она взглянула на него и сказала торопливо:

— Ах, это вы! Сегодня вы интересный. Но только мне некогда. Вам кружку пива?

— Да.

Когда она принесла пиво, он проговорил:

— Я пришел проститься с тобой. Я уезжаю.

Она равнодушно ответила:

— Вот как! Куда же?

— В Америку.

— Говорят, это чудесная страна.

Только и всего. И дернуло же его заводить с нею разговор в такой день, когда кафе переполнено!

Тогда Пьер направился к морю. Дойдя до мола, он увидел «Жемчужину», на которой возвращались на берег его отец и капитан Босир. Матрос Папагри греб, а друзья-рыболовы, сидя на корме, попыхивали трубками, и лица их так и сияли довольством и благодушием. Глядя на них с мола, доктор подумал: «Блаженны нищие духом». Он сел на одну из скамей у волнореза, в надежде подремать, забыться, уйти в тупое оцепенение.

Когда вечером он вернулся домой, мать сказала ему, не решаясь поднять на него глаза:

— Тебе к отъезду понадобится бездна вещей, и я в некотором затруднении. Я уже заказала тебе белье и условилась с портным относительно платья; но, может быть, нужно еще что-нибудь, чего я не знаю?

Он открыл было рот, чтобы ответить: «Нет, мне ничего не нужно». Но тут же подумал, что ему необходимо, по крайней мере, прилично одеться, и ровным голосом ответил:

— Я еще точно не знаю, справлюсь в Компании.

Он так и сделал, и ему дали список необходимых вещей. Принимая этот список из его рук, мать в первый раз за долгое время взглянула на него, и в ее глазах было такое покорное, кроткие и молящее выражение, словно у побитой собаки, которая просит пощады.

Первого октября «Лотарингия» прибыла из Сен-Назера в Гаврский порт с тем, чтобы седьмого числа того же месяца уйти к месту назначения, в Нью-Йорк, и Пьеру Ролану предстояло перебраться в тесную плавучую каморку, где отныне будет заточена его жизнь.

На другой день, выходя из дому, он столкнулся на лестнице с поджидавшей его матерью.

— Хочешь, я помогу тебе устроиться на пароходе? — еле внятно спросила она.

— Нет, спасибо, все уже сделано.

Она прошептала:

— Мне так хотелось бы взглянуть на твою каюту.

— Не стоит. Там очень неуютно и тесно.

Он прошел мимо, она же прислонилась к стене, сраженная, мертвенно бледная.

Ролан, уже успевший посетить «Лотарингию», за обедом шумно восторгался ее великолепием и не мог надивиться, что жена не проявляет желания осмотреть пароход, на котором уезжает их сын.

В последующие дни Пьер почти не виделся с родными. Он был угрюм, раздражителен, груб, и его резкие слова, казалось, бичевали решительно всех. Но накануне отъезда он вдруг отошел, смягчился. Ночь он должен был провести в первый раз на борту парохода; вечером, прощаясь с родителями, он спросил:

— Вы придете завтра на судно проститься со мной?

Ролан вскричал:

— Еще бы, еще бы, черт побери! Правда, Луиза?

— Разумеется, — тихо сказала она.

Пьер продолжал:

— Мы снимемся в одиннадцать. Надо быть там, самое позднее, в половине десятого.

— Знаешь что? — воскликнул отец — Блестящая идея! Попрощавшись с тобой, мы побежим садиться на «Жемчужину» и будем поджидать «Лотарингию» за молотом, чтобы увидеть тебя еще раз. Как ты думаешь, Луиза?

— Да, конечно.

Ролан продолжал:

— А если стоять на молу со всей толпой, которая придет поглазеть на океанский пароход, то ты ни за что нас не разглядишь. Одобряешь мою мысль?

— Конечно; одобряю. Отлично.

Час спустя он лежал на своей койке моряка, узкой и длинной, как гроб. Он долго лежал с открытыми глазами, думая обо всем, что произошло за эти два месяца в его жизни и особенно в его душе. Он так мучился сам и так мучил других, что в конце концов воинственное, мстительное горе истощило себя, как иступившееся лезвие. У него уже не хватало сил сердиться на кого-либо за что бы то ни было; он не возмущался более, он на все махнул рукой. Он так устал бороться, наносить удары, ненавидеть, так устал от всего, что совсем обессилел и только пытался усыпить все свои чувства и погрузиться в забвение, как погружаются в беспробудный сон. Он слышал вокруг себя невнятные, непривычные шумы корабля, легкие шорохи, едва различимые в тихую ночь стоянки, и глубокая рана, которая два месяца так жестоко жгла ему душу, теперь только ныла, как заживающий рубец.

Он крепко спал до тех пор, пока топот ног матросов не разбудил его. Было уже утро, и на пристань прибыл поезд, привезший пассажиров из Парижа.

Тогда Пьер стал бродить по пароходу среди озабоченных, суетящихся людей, которые разыскивали свои каюты, перекликались, спрашивали о чем-то и отвечали невпопад в суматохе

начавшегося путешествия. Поздоровавшись с капитаном и пожав руку сослуживцу, судовому комиссару, он вошел в кают-компанию, где несколько англичан уже дремали по углам. Это была большая комната с облицованными белым мрамором стенами и с золочеными багетами; в высоких зеркалах отражались казавшиеся бесконечными ряды длинных столов и вращающихся стульев, крытых алым — бархатом. Одним словом, это был плавучий холл, огромный плавучий космополитический холл, где собираются за общим столом богачи всех частей света. Бьющая в глаза роскошь была та же, что в больших отелях, в театрах, в общественных местах, — крикливая и безвкусная, ласкающая глаз миллионеров.

Пьер уже собирался пройти в ту часть корабля, которая была отведена для второго класса, как вдруг вспомнил, что накануне вечером на судно погрузили большую партию эмигрантов, и спустился в межпалубное помещение. Когда он очутился там, у него перехватило дыхание от тошнотворного запаха, свойственного нищему и грязному люду, от зловония человеческого тела, зловония более отвратительного, чем запах звериной шерсти или щетины. В каком-то подобии подземелья, темном и низком, как забои в рудниках, сотни мужчин, женщин и детей лежали на дощатых нарах или, сбившись в кучу, сидели на полу. Пьер не мог рассмотреть отдельных лиц, он видел только толпу грязных, оборванных людей, толпу отверженных, наголову разбитых жизнью. Измученные, раздавленные, они уезжали вместе с изможденными женами и детьми-заморышами в неведомые края, теша себя надеждой, что там, быть может, не умрут с голоду.

Пьер думал о многолетнем труде этих людей, труде упорном и напрасном, об их бесплодных усилиях, об ожесточенной, ежедневно тщетно возобновляемой борьбе, об энергии, растроченной этими несчастными, которые намеревались заново начать неведомо где такую же жизнь безысходной нужды, и ему хотелось крикнуть им: «Да бросайтесь вы лучше в воду со своими самками и детенышами!» И сердце его так заныло от жалости, что? он поспешил уйти, не в силах больше выносить эту картину.

Отец, мать, брат и г-жа Роземильи уже поджидали его в каюте.

— Так рано — сказал он.

— Да, — дрожащим голосом ответила г-жа Ролан, — нам хотелось побыть с тобою подольше.

Он взглянул на нее. Она была в черном, точно в трауре, и он заметил вдруг, что ее волосы, месяц назад только начинавшие седеть, теперь почти совсем побелели.

Ему стоило больших трудов усадить четверых гостей в своем тесном закутке; сам он сел на койку. Дверь оставалась открытой, и мимо нее толпами сновали люди, точно по улице в праздничный день; огромный пароход был наводнен провожающими и целой армией любопытных. Они расхаживали по коридорам, салонам и даже просовывали головы в каюту, а снаружи раздавался шепот: «Это помещение врача».

Пьер задвинул дверь, но, как только очутился наедине со своими, ему захотелось опять открыть ее, потому что в суете, царившей на пароходе, не так заметно было, что все смущены и не знают, о чем говорить.

Госпожа Роземильи решила наконец прервать молчание.

— Сквозь эти оконца проходит очень мало воздуха, — заметила она.

— Это иллюминатор, — ответил Пьер.

Он показал, какое у иллюминатора толстое стекло, выдерживающее самые сильные толчки, а затем пространно объяснил систему затвора. Ролан, в свою очередь, спросил:

— У тебя здесь и аптечка?

Пьер открыл шкаф и показал целый набор склянок с латинскими названиями на белых бумажных наклейках.

Он вынул одну из склянок и перечислил все свойства содержащегося в ней вещества, потом вторую, третью и прочел форменный курс терапии, который все слушали, казалось, с большим вниманием.

Ролан приговаривал, покачивая головой:

— До чего же это интересно?

В дверь тихо постучали.

— Войдите! — крикнул Пьер.

Вошел капитан Босир.

Он сказал, протягивая руку:

— Я пришел попозже, потому что не хотел мешать излипаниям родственных чувств.

Ему тоже пришлось сесть на постель. И снова воцарилось молчание.

Но вдруг капитан насторожился. Через перегородку до него долетели слова команды, и он объявил:

— Пора идти, иначе мы не успеем сесть на «Жемчужину» и вовремя встретить вас, чтобы попрощаться с вами в открытом море.

Ролан-отец, который очень на этом настаивал, вероятно, потому, что хотел произвести впечатление на пассажиров «Лотарингии», вскочил с места:

— Ну, прощай, сынок.

Он поцеловал Пьера в бакенбарды и отворил дверь.

Госпожа Ролан не двинулась с места; глаза ее были опущены, лицо еще больше побледнело.

Муж тронул ее за локоть:

— Скорей, скорей, нельзя терять ни минуты.

Она встала, шагнула к сыну и подставила ему сначала одну, потом другую щеку восковой белизны; он поцеловал ее, не говоря ни слова. Потом он пожал руку г-же Роземильи и брату, спросив при этом:

— Когда свадьба?

— Еще точно не знаю. Мы приурочим ее к одному из твоих приездов.

Наконец все вышли из каюты и поднялись на палубу, запруженную пассажирами, носильщиками и матросами.

Пар громко шипел в огромном чреве парохода, казалось, дрожавшего от нетерпения.

— Прощай, — торопливо сказал Ролан.

— Прощайте, — ответил Пьер, стоя у деревянных сходней, соединявших «Лотарингию» с пристанью.

Он еще раз пожал руки своим родным, и они ушли.

— Скорей, скорей садитесь! — кричал Ролан.

Поджидавший фиакр доставил их к внешней гавани, где Папагри уже держал «Жемчужину» наготове.

Не было ни малейшего ветра; стоял один из тех ясных, тихих осенних дней, когда морская гладь кажется холодной и твердой, как сталь.

Жан схватил одно весло, Папагри другое, и они принялись грести на волнорезе, на обоих молах, даже на гранитном парапете огромная толпа, суетливая, шумная, поджидала «Лотарингию».

«Жемчужина», пройдя между двумя людскими валами, вскоре очутилась за молом.

Капитан Босир, сидя между обеими женщинами, правил рулем и то и дело повторял:

— Вот увидите, мы окажемся как раз на его пути, точка в точку.

Оба гребца изо всех сил налегали на весла, чтобы уйти подальше. Вдруг Ролан воскликнул:

— Вот она! Я вижу ее мачты и обе трубы. Она выходит из гавани.

— Живей, ребята! — подгонял Босир.

Госпожа Ролан достала носовой платок и приложила его к глазам.

Ролан стоял, уцепившись за мачту, и возглашал:

— Сейчас она лавирует по внешней гавани... Остановилась... Опять пошла... Пришлось взять буксир... Идет... браво! Проходит между молами!.. Слышите, как кричит толпа... браво!.. Ее ведет «Нептун»... Уже виден нос... вот она, вот она... Черт возьми, какая красота! Черт возьми! Вы только поглядите!..

Госпожа Роземильи и Босир обернулись; мужчины перестали грести; одна только г-жа Ролан не шевелилась.

Гигантский пароход, влекомый мощным буксиром, который рядом с ним походил на гусеницу, медленно и величественно выходил из порта. И жители FaVria, сгрудившиеся на молах, на берегу, у окон, внезапно подхваченные патриотическим порывом, стали кричать: «Да здравствует» Лотарингия «! — приветствуя корабль и рукоплещая этому великолепному спуску на воду, этому разрешению от бремени большой морской гавани, отдавшей морю самую прекрасную из своих дочерей.» Лотарингия «, пройдя узкий проход между двумя гранитными стенами и почувствовав себя наконец на свободе, бросила буксир и пошла одна, точно огромное, бегущее по воде чудовище.

— Вот она!.. вот она! — все еще кричал Ролан — Идет прямо на нас!

И сияющий Босир повторял:

— Что я вам говорил, а? Мне ли не знать ее курса!

Жан потихоньку сказал матери:

— Смотри, мама, идет!

Госпожа Ролан отняла платок от глаз, увлажненных слезами.

«Лотарингия» быстро приближалась; сразу же по выходе из порта она развила полную скорость, — день был ясный, безветренный. Босир, наведя подзорную трубу, объявил:

— Внимание! Господин Пьер стоит на корме, совсем один. Его отлично видно. Внимание!

Высокий, как гора, и быстрый, как поезд, пароход шел мимо «Жемчужины», почти касаясь ее.

И г-жа Ролан, забыв обо всем, вне себя простерла к нему руки и увидела своего сына, своего Пьера, он стоял на палубе, в фуражке с галунами, и обеими руками посылал ей прощальные поцелуи.

Но он уже удалялся, уходил прочь, исчезал вдаль, становился совсем маленьким, превращался в едва заметное пятнышко на гигантском корабле. Она пыталась еще увидеть его, но уже не могла разглядеть.

Жан взял ее за руку.

— Ты видела? — сказал он.

— Да, видела. Какой он добрый!

И «Жемчужина» повернула к набережной.

— Черт побери! Вот это скорость! — восклицал Ролан в полном восхищении.

Пароход и в самом деле уменьшался с каждой секундой, словно таял в океане. Г-жа Ролан, обернувшись, смотрела, как судно уходит за горизонт, в неведомый край, на другой конец света. На этом корабле, который ничто уже не могло остановить, на этом корабле, который вот-вот скроется из глаз, был ее сын, ее бедный сын. Ей казалось, что половина ее сердца уходит вместе с ним, что жизнь кончена, и еще ей казалось, что никогда больше не увидит она своего первенца.

— О чем ты плачешь — спросил муж, — Не пройдет и месяца, как он вернется.

Она прошептала:

— Не знаю. Я плачу потому, что мне больно.

Когда они сошли на берег, Босир попрощался с ними и отправился завтракать к приятелю. Жан ушел вперед с г-жой Роземильи; Ролан сказал жене:

— А что ни говори, у нашего Жана красивая фигура!

— Да, — ответила мать.

И так как она была слишком взволнована, чтобы думать о том, что говорит, то добавила:

— Я очень рада, что он женится на госпоже Роземильи.

Старик опешил:

— Что? Как? Он женится на госпоже Роземильи?

— Да. Мы как раз сегодня хотели спросить твоего мнения.

— Вон оно что! И давно это затевается?

— Нет, нет, всего несколько дней. Жан, прежде чем говорить с тобой, хотел убедиться, что его предложение будет принято.

Ролан сказал, потирая руки:

— Очень хорошо, очень хорошо! Великолепно. Я вполне одобряю его выбор.

Сворачивая с набережной на углу бульвара Франциска I, г-жа Ролан еще раз обернулась и бросила последний взгляд на океан; но она увидела только серый дымок, такой далекий и неуловимый, что он казался клочком тумана.

1887 — 1888